

МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВ

Волжский
роман



Ивушка неплакучая

Волжский роман

Михаил Алексеев

Ивушка неплакучая

«ВЕЧЕ»

1971–1974

Алексеев М. Н.

Ивушка неплакучая / М. Н. Алексеев — «ВЕЧЕ», 1971–
1974 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7658-7

Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая», удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах.

ISBN 978-5-4484-7658-7

© Алексеев М. Н., 1971–1974

© ВЕЧЕ, 1971–1974

Содержание

Книга первая	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	22
Глава 5	28
Глава 6	35
Глава 7	38
Глава 8	44
Глава 9	49
Глава 10	63
Глава 11	73
Глава 12	81
Глава 13	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Михаил Николаевич Алексеев

Ивушка неплакучая

© Алексеев М.Н., наследники, 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Книга первая

*Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?
Иль частым дождичком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?*

Из русской народной песни

Глава 1

У железнодорожной кассы столпотворение. Студенты – по большей части первокурсники – торопились домой. Им, от дня своего рождения не покидавшим прежде своих раскиданных по степям сел, деревень и хуторов, остаться бы в городе да поглядеть на первомайские празднества, а еще лучше – самим пройти в колонне веселых демонстрантов да во всю силу легких спеть только что разученную и тотчас же полюбившуюся песню про страну, в которой так много лесов, полей и рек, в которой так вольно дышится и которую все любят, как невесту, и берегут, как ласковую мать. Нет же! Домой, и только домой! Можно еще как-то понять Гришу Угрюмова: в Завидове его ждут отец, мать, сестры, братишка, и все души в нем не чают. А куда б спешить Сереге, Гришиному другу? Дома у него никого нету: мать и отец померли в тридцать третьем году, старшие братья и сестра разлетелись кто куда, и, где они теперь, Серега не знал. Вся родня у него – тетка Авдотья, но и она сейчас не в Завидове, а в далеком большом городе, укатила на все лето к сыну Авдею погостить. Совсем недавно прислала племяннику костюм – пиджак и штаны из одного материала, темно-синего, в елочку. Досталась же ей эта покупка! Позже, из рассказов Авдея, Серега узнал, что тетка Авдотья в поисках костюма исходила и изъездила на трамваях весь город, прощупала своими строгими и недоверчивыми глазами все прилавки, пока не нашла того, чего хотела. Однако не сразу полезла за пазуху, чтобы достать заветный узелок с деньгами, а уж только после того, как продавец чуть ли не под присягой уверил ее, что дешевле этой пиджачной пары не отыщется не то что в ихнем городе, но и во всем белом свете.

Облачившись в теткин подарок, Серега, к немалому своему удивлению, обнаружил, что выглядит наряднее всех. Одна беда: опоздала тетка Авдотья, прежде ее посылки неожиданно-негаданно обрушилась на Серегу любовь. Ходил какую уж неделю в сладком чаду. Превозможная врожденную стеснительность, искал всякую минуту, чтобы встретиться с ее взглядом и прочесть в нем ответное чувство, но, кроме откровенных и жестоких в своей откровенности насмешенок, ничего в нем не прочел, потому как полюбить хлопца с двумя выразительнейшими заплатками на штанах конечно же немислимо. Были бы те заплатки поменьше размером и в каких-нибудь других местах, а не на самом неподходящем, может, и было бы все по-иному.

Серега делал героические усилия, чтобы его старые деревенские штаны походили на городские брюки: с вечера, перед тем как лечь спать, укладывал их, тщательно расправив, под жесткий и тяжелый, как надгробная плита, студенческий матрас в надежде, что к утру образуются желанные складки; рубаху носил навывпуск и без пояса, чтобы прикрыть ненавистные заплатки, но чуть наклонился или ветер лизнул сзади, снизу вверх, – они все одно нахально выглядывали... Вскоре к этим двум прибавились еще две – на коленках. И Серега был уничтожен окончательно. Кто ж полюбит такого? На пугало огородное только и сгодишься. Из всех личных врагов, какие так или иначе встречались потом в жизни Сереги, наилютейшими были

те заплатки, ибо они украли у него самое дорогое, что когда-либо бывает у человека, – первую любовь.

Пока тетка Авдотья ходила по магазинам да высматривала костюм, пока готовила посылку, пока размышляла, в какую цену ее определить, чтобы и не заплатить слишком дорого за пересылку и чтобы, затеряйся добро в пути, не понести убытку; пока, наконец, двигалась эта посылка малой скоростью, время не стояло на месте и делало свое дело. Для Сереги – определенно недоброе. Лена – так звали ту девчонку – полюбила Семена Мищенко, большеголового стриженного увальня, у которого были хороши разве что глаза, темные, с длинными, как у девчат, ресницами, да белоснежная полотняная сорочка с вышивкой. А штаны – тоже старые, обшмыганные, правда, без заплаток. И Лена с Семеном были счастливы. Когда Серега узнал о том, белый свет стал не мил. И захотелось бежать – не куда глаза глядят, а в родное Завидово, вместе с Гришей Угрюмовым, с ним полегче, чай, будет.

Приятели знали, что касса откроется утром, но прибежали к вокзалу с вечера. Полагали, что окажутся первыми. Не обремененные опытом, они не вспомнили вовремя, что другие ребята могли явиться к окошечку намного раньше Сереги и Гриши. По этой причине они оказались в хвосте длиннющей очереди за билетами. Ошарашенные столь неожиданным и не радостным открытием, друзья какое-то время растерянно молчали, переглядывались, а придя в себя, начали оценивать положение, в котором очутились. Сперва выяснили, какое число людей перед ними в очереди (оно оказалось не таким уж устрашающим), потом узнали, какова вместимость каждого вагона и сколько их в поезде. Подсчетами остались довольны, успокоились и стали ревностно оберегать свое место в очереди. Дежурили посменно: поспит немножко на лавке один, потом другой. Так дождались утра.

Касса открылась с опозданием на полчаса. Гриша и Серега не знали, что кое для кого она отверзлась несколькими часами раньше, а знай они об этом, не стояли бы попусту. Вчерашние подсчеты были тоже ни к чему – доморощенная их бухгалтерия не учитывала то, что всякий, кто стоял впереди них, мог взять один билет, а мог сразу и четыре.

Нехорошая догадка пришла к Сереге и Грише лишь тогда, когда они увидели, что все еще стоят на месте, не продвинулись к цели ни на вершок, в то время когда мимо них один за другим пробегали к выходу красные, как вареные раки, счастливые обладатели билетов. В конце концов случилось то, что и должно было случиться. Перед каким-то студенческим носом с повисшей на нем капелькой пота с сердитым хлопком закрылась дверца кассы. Малый опешил на миг, затем машинально забарабанил в дверцу, заорал:

– Безобразие!

Дверца открылась вновь, но только для того и ровно настолько, чтобы оттуда успели вылететь ответные слова:

– Чего орешь? Ишь сопли-то распустил! Сказала, все билеты проданы! Уматывайте, пока Федосея Михалыча не позвала!

Последние слова похоронным звоном прозвучали для всех ожидающих.

Сидящая за окошечком тетка знала, кем припугнуть ребят. Милиционер Федосей Михайлович своей свирепостью был хорошо известен всем горожанам, студентам же в особенности. Он охотился за ними в городском Доме культуры, в кинотеатре, в парке, в столовой, в железнодорожном буфете, в крытом рынке, в вагонах – повсюду, куда те могли проникнуть с известной целью, не имея в кармане ни копейки.

– Пошли, ребята! – с нарочитой бодростью предложил пострадавший. – Не хватало нам еще Федосея!

Студенческая лава хлынула на улицу. Серега и Гриша задержались в зале. Теперь они были одни и стояли возле окошка, не мигаючи глядя на него: вдруг откроется, вдруг кассирша сообщит, что случайно два билета остались, вот возьмите, и таким образом их выдержка будет вознаграждена.

Чудес, однако, действительно не бывает. Дверца не раскрылась, и не было похоже, что такое случится с нею в ближайшее время. До отхода поезда оставалось пять минут. Об этом сообщил ржавый репродуктор своим хриплым, вроде бы тоже проржавленным голосом.

Сергея и Гришу, не сговариваясь, выскочили на перрон. У них решительно не было никаких надежд, и все-таки выскочили. Вдоль вагонов важный и несокрушимо бескомпромиссный вышагивал Федосей Михайлович. Студенты-неудачники неприязненно посматривали на него. Относительно прошлого этого человека у них не было ни малейшего сомнения: ясно, при старом режиме Федосей Михайлович был околоточным, и, наверное, в этом же городе. Рассчитывать на то, что он утратит хотя бы на миг бдительность и даст ребятам возможность проскользнуть мимо и нырнуть в вагон, не приходилось. Такое могло случиться с любым, но только не с Федосеем Михайловичем.

Паровоз между тем запыхтел, засвистел, загудел так же хрипло, как и торчавший над перроном репродуктор, и, дернув вагоны раз и два, медленно поволок их от станции. Перед Сереговыми и Гришиными глазами поплыли улыбающиеся рожи знакомых и незнакомых студентов.

– Пошли пешком, – тихо и осторожно предложил Гриша.

– Пошли! – живо согласился Серега, радуясь тому, что и сам сейчас думал о том же, – значит, решение, которое они принимают, не такое уж безумное.

От города до их Завидова около семидесяти верст, если идти напрямую. А они избрали путь по железной дороге, по шпалам – так, рассудили, не заблудимся, доберемся до Лысых Гор, сойдем с полотна, свернем влево, подыдемся на гору, а там, полями, через Липняги, Дубовое, Березово – прямо в Завидово. К следующему утру, глядишь, будем дома.

И они пошли, влекомые силою, которой нету на свете равных, той самой, что гонит к родным пределам из дальних-предальных краев, из-за гор высоких, из-за морей бескрайних несметные стаи птиц, а из бесконечных странствий – отъявленных бродяг и блудных сыновей.

Вчера еще не оставлявшие Завидова ни на один день, Серега и Гриша и не подозревали о существовании этой силы. Да и сейчас думали не о ней, а лишь о том, как бы поскорее добраться домой, поесть с дороги (Серега пойдет к Угрюмовым, там, поди, покормят), отдохнуть с часик, а потом – в лес, где теперь синими звездами мерцают подснежники, где вот-вот взвываются белые и душистые фонтаны черемухи, где в густом кустарнике темнеют сорочьи гнезда, а сами сороки подстерегают на чьем-либо подворье неосторожно оброненное курицей яйцо, чтобы тут же выпить его; в лес, в лес, где вскорости запоют соловьи... А на реке дядька Артем по прозвищу Апрель; сейчас он непременно на бережку, караулит от Тишки и Пишки свои рыбачьи сети; послушает-послушает он лягушек и скажет многозначительно: «Орут, окаянный их дери, слушать аж противно, а ведь они поют. И не просто – про любовь поют. Вот ведь какое дело!» Он не прибавит ничего более, полагая это излишним. Серега и Гриша тихо присядут рядом с Апрелем и будут тоже слушать. Хорошо!

Из лесу они пойдут в поля, потому как из шестнадцати своих лет половину провели в степи, нередко оставались там с ночевкой, слушали перепелов, доглядывали за лошадьми, считали крупные и яркие ночные звезды и пели, пугая темноту, «Взвейтесь кострами». Были у них дела в поле и посерьезнее. В тридцать третьем году в Завидове из пионеров организовали отряд и назвали его легкой кавалерией по охране урожая. Серега и Гриша, которые были в отряде вроде командира и комиссара, и теперь не знали, почему – кавалерия, ежели в колхозе-то оставались каких-нибудь две-три клячи, а в их отряде не было ни одной лошади. Ребята ведь только и делали, что сидели день-деньской на своих наблюдательных вышках и следили, чтобы «кулацкие парикмахеры» не обстригали в мешки созревающих колосьев ржи или пшеницы. Однажды Гриша и Серега увидели за таким занятием Екатерину Ступкину, крупную и всю какую-то круглую, похожую на дыню рябоватую бабу, беднее которой на селе и не было никого. Шума не стали подымать, взяли грех на свою душу – отпустили Ступкину. Ну какой

она «парикмахер», да еще кулацкий, ежели в избе кусать нечего ни ей, ни ее ребятишкам, из коих половину она уже успела похоронить прошлым летом. Правда, не у нее одной случилось такое горе. На селе прошел слух, что Стешка Луговая будто бы сознательно уморила голодом своих близнецов-сыновей – все в том же тридцать третьем, унесшем так много человеческих жизней и не удостоившемся хотя бы простого упоминания ни в одном из учебников новейшей истории.

Не вспомнили о страшном том годе и Серега с Гришей, шагая по шпалам, как по лестнице, брошенной плашмя на землю. Идти было очень неудобно. Если наступать на каждую шпалу, то приходится семенить, а через одну – шаг получается слишком широк, аж штаны трещат, и быстро устаешь. Так и шли, сбиваясь, спотыкаясь, и все же, как им казалось, достаточно быстро. Но вот остановились, чтобы передохнуть. Оглянулись, а городок – вот он, рядом, под горой. Шли более часа, а ушли, думается, всего на версту – дорога-то петляет.

О тридцать третьем подумали на второй день, когда спускались в Завидово и когда избытые в кровь ноги едва волочились, а голова кружилась от жажды и голода. Возле многих изб и теперь еще можно было заметить горки ракушек, перламутрово вспыхивающих под солнцем, – пять лет назад, вылавливая их в реке и в лесных озерах, люди пытались спасти себя от смерти. Многие избы стояли с заколоченными окнами, многие были порушены. На месте бывших дворов взметнулась цыганка – так в Завидове звали лебеду какой-то особой породы, с красноватыми листьями. Всякий раз она являлась на свет божий как вернейший признак запустения, его неизменный, постоянный спутник.

С горы ребята увидели, как от пруда, что посередине селения, течет жиденький ручеек коровьего и овечьего стада. За ним, помахивая самодельным кнутом, поспешал мальчуган, белые волосы клубились над его головой, излучали сияние, похожее на нимб. Однако к лику святых этого отрока-пастушонка едва ли можно было причислить. В свои какие-нибудь восемь лет он успел запасть полным набором грубых мужицких словосочетаний и теперь щедро награждал ими непослушное разноплеменное стадо. В довершение всего, как бы вспомнив о чем-то таком, чего никак уж нельзя перенести на иной час, прямо на глазах у проходящих мимо девочек принялся сосредоточенно и деловито править невеликую нужду. Стадо сейчас же замедлило движение, как бы дожидаясь своего повелителя. Некоторые коровы остановились вовсе. Козы, эти Богом сотворенные и им же проклятые создания, только и ждали такого момента – немедленно устремились в сторону, не имея никакой другой очевидной цели, а подчиняясь единственно своей вздорной козлиной привычке лезть туда, куда не полагается. Козьего чуткого слуха не миновал, однако, звонкий и сердитый глас пастуха, подкрепленный многообещающим хлопком кнута. Их бородатый вожак тотчас же остановился, поднял голову, скосил в сторону заканчивавшего свое дело пастушонка бесьи глаза, затем рысью помчался обратно в стадо, все остальное козье отродье поспешило за ним.

– Павлик, ты что так матерись? – удивленно спросил Гриша, когда приблизился и узнал в пастушонке своего младшего братишку. – Ты хочешь, чтобы я тебе уши пощупал, а? Кто тебя заставил пасти? Сам, наверно, напросился, да?

Поскольку вопросов было задано много и требовалось еще решить, на какой из них отвечать в первую очередь, Павлик некоторое время молчал; встреча со старшим братом была для него полнейшей неожиданностью. Будь он парнишкой не деревенским и не располагай такой большой властью, как сейчас, Павлик, вероятно, бросил бы все и кинулся Грише на шею. Но он родился в Завидове, к тому же в семье Угрюмовых, где телячьи нежности не в чести, где больше ценятся характеры грубовато-суровые, сдерживаемые до известной поры какой-то внутренней железной крепости и упругости пружиной.

– Что же ты набычился? – спросил Гриша, обнимая брата за узкие и острые плечи. – Дома-то все здоровы?

– Там свадьба, – глухо сообщил Павлик и свирепо закричал: – Куда те, так твою мать, черт понес! Назад, вислобрюхая! Кишки выпущу!

Гриша не успел вознаградить брата вполне заслуженной оплеухой, как тот оказался уже возле ушедшего вперед стада.

– Что еще за свадьба? Чего он плетет? – вслух размышлял Гриша, а лицо уже начало буреть, наливаясь хорошо знакомой всем завидовцам, в том числе и Сереге, угрюмовской свирепостью. – Сколько сейчас времени, не знаешь? – зачем-то спросил он у Сереги.

Часов у них, конечно, не было. Но по стаду, идущему со стойла в степь, поняли, что полдень. Значит, поход их продолжался более суток. Первое мая на исходе. Чтобы поспеть к занятиям, завтра надо отправляться в обратный путь. А ноги все в кровавых ссадинах – шли ведь босыми, берегли ботинки, случалось наступать и на острый камень, и на костыль, и на рельс; в голове гуд какой-то, в ушах свист, губы запеклись, потрескались.

А в селе на праздник и не похоже. Разве что старый, полинявший, обтрепанный ветрами красный флаг сменили на новый. И все.

– Пойдем, Сергей, к нам.

Серега как раз про то и думал: позовет или не позовет? Позвал. Молодец, Гриша, настоящий ты все-таки друг. А то куда б Сереге пойти? Тетка Авдотья не вернется в Завидово, наверное, до осени. Изба, в которой жили с ней, на замке. Да и пусто там, пыльно, пахнет нежилю. Кроме голодного мышинного писка, ничего и не услышишь.

Глава 2

Павлик не напел – в доме Угрюмовых действительно что-то происходило. У каждого из шести окон толпились бабы, тесня друг дружку, стараясь занять позицию поудобнее, чтобы получше разглядеть все, что творилось внутри помещения. Возвышенные же места вокруг подворья – плетни, крыши хлевов и сарая, поветь, переплеты лестницы, вытащенной из погреба и приставленной к стене дома, – облепила ребяшня, детишки помельче неплохо устроились на руках и шеях матерей – тех, что прильнули к окнам. Под ногами женщин скрипели осколки стекол, выдавленных локтями и кулаками подвыпивших.

Грише почему-то не хотелось сразу идти в дом, они с Серегой протиснулись к окошку, заглянули вовнутрь. Так и есть – свадьба. Феня – во всем белом – сидела в красном углу передней, справа от незнакомого парня, длинношеего и длиннорукого, одетого в красноармейскую гимнастерку. Одна из его длинных рук простиралась над большим, составленным из двух, столом – парень произносил речь и жестикулировал. Из окна доносился сплошной гул, и слышать, что говорил жених, было нельзя. И то, что он не сидел тихо, как полагалось бы жениху, и то, что оказался в доме вроде бы вторым хозяином, и то, что все были заняты так или иначе им, а не Гришей, встреча с которым (такая неожиданная!) должна была бы радостно поразить родню, и то, что Феня – для Гриши не просто старшая сестра, но большой друг – без братниного совета выходит за этого светлоглазого и длиннорукого, совершенно неведомого Грише верзилу, и то, что мать и отец, раскрасневшись и обливаясь потом, сидят веселые и, судя по широко открытым ртам, еще и поют в то время, когда Гриша стоит голодный у окна со своими разбитыми в кровь ногами, – все это в один миг наполнило Гришино сердце крайней неприязнью к тому, что тут происходило, и ко всем, кто принимал здесь какое-либо участие, – не ведая того, они похитили у Гриши и его товарища то, ради чего те протопали босыми ногами без малого сто верст.

Первым их увидел пастух, хромоногий, с вывернутой рукой чернявый мужичонка, которого и мал и стар – все звали не иначе, как Тихан, редко кто прибавлял отчество – Зотыч. Он выходил из сеней, держа в пригоршне налитый до краев граненый стакан. Пропеченное солнцем, продубленное степными ветрами, прорезанное вдоль и поперек глубокими морщинами маленькое лицо его излучало прямо-таки ликование. Нельзя было понять в ту минуту, что было тому причиной: добрая ли чарка в его руках или то, что он первым увидел студентов. «Мать честная! Кого я вижу?» – Он одним махом опрокинул стакан и, утершись подолом сарпиновой рубахи, заторопился опять в дом, но был остановлен далеко не ласковым окриком Гриши:

– Дядя Тихан!

– Что, милоч? Что, мой сладкий?

– Какой я тебе милоч? Не стыдно мальчишку мучить? Послал со стадом, а сам...

– А што – сам? Ну, выпил маненько, ну... Зря, зря ты так на меня, Григорий! Павлушку никто не заставлял. Ему это в удовольствие.

– Тебе, видать, тоже в удовольствие?

– И мне в удовольствие. А чего ж тут? – чистосердечно признался Тихан, но потом все-таки осерчал, огневался: – Зачем же ты меня обидел, Григорий? А? Рази я плохое што... Эх! – И, махнув рукой, той, что была исправна, перекинул за плечо кнут, похромал в сторону поля.

Кто-то все-таки оповестил Угрюмовых о приходе студентов. За свадебным столом зашевелились. Со своего места, передав четверть другому разливальщику, снялся отец, потом мать, Феня же почему-то сперва побледнела, потом покраснела, глаза – большие, синие Фенины глаза – повлажнели, забегали растерянно и виновато. Это все видел Серега, и был удивлен, и хотел было сказать Грише, но тот уже очутился в тугих объятьях Леонтия Сидоровича, из глаз которого обильно текли счастливые пьяные слезы.

– Что ж ты телеграмму-то... Встретили бы, – бормотал он, и в голосе его звучала теперь та же растерянность и виноватость, какую Серега только что видел в глазах невесты. – И Сережа с тобой! Ну, пошли в дом – прямо за стол!

– Я не пойду, тять.

– Это еще что?

– Устали мы. Добирались на своих на двоих. Отдохнем часок на повети.

Отец все понял:

– Не рад, стало быть, сестриному счастью? Ну, ты вот что, Григорий, ты мне это брось!

Наверное, Леонтий Сидорович сказал бы еще что-то, скорее всего прикрикнул бы на сына, но тут явилась мать – запричитала, заголосила, прижалась к Гришиному лицу мокрой щекой. Отец отошел, оглушительно высморкался. Наохлившись, багровея крутой шеей, побрел в дом – там были гости, и они, что бы ни случилось, должны веселиться.

Встретив сердитый взгляд отца (Леонтий Сидорович не успел вернуть своему лицу приветливо-радушное, подобающее моменту выражение), Феня поняла, что произошло во дворе, и заторопилась было туда сама. Однако жених незаметно для гостей властно поприверждал ее. Феня удивленно глянула на него, вспыхнула вся, но потом как-то увяла, плечи ее опустились. То, что она сразу безропотно подчинилась, понравилось жениху, и он сделался еще более важен: грудь сама собой выпятилась, туго натянув гимнастерку. Несколько медных, начищенных до ослепляющего глаз сияния пуговиц расстегнулись, и одна оторвалась и со звоном упала в пустующий Фенин стакан, так что невеста вздрогнула, как от нечаянного выстрела. Не один, а почему-то полдюжины значков ворошиловского стрелка глухо ударились друг об друга, а потом замерли, странно уставившись на людей эмалевыми белками мишеней, обведенных все сужающимися ободками. За столом опять стало шумно, оживленно, потому что перед носом каждого выросла очередная чарка. Пили опять за счастье Фени с Филиппом Ивановичем, которого все почему-то величали по имени и отчеству, хотя парню было чуть более двадцати. Видать, гимнастерка, широкий командирский ремень с португеей, ссуженный ему подружески в момент ухода в долгосрочный ротным каптенармусом, и желтая кобура на ремне (пустая, конечно), прицепленная так, чтобы была видна всем, прибавили малому солидности; но, может, и то, что объявился он в Завидове не рядовым гражданином, а сразу же председателем сельского Совета.

Кроме матери Филиппа Ивановича, за столом сидели все завидовцы. Среди них родня по угрюмовской, то есть по невестиной, линии, она располагалась поближе к жениху с невестой. При этом, по обычаю, тщательно взвешивалась степень родства и значительность той роли, какую исполняла эта родня в судьбе семьи. Приглашены были не только сродники, но близкие или просто нужные по всяким соображениям люди. Сидели за столом и такие, без которых не обходится ни одна свадьба, ни одно сколько-нибудь заметное гульбище – это гармонист и два-три певуна. Припожаловали, разумеется, и те, коих никто никогда не зовет. Эти добры молодцы и тут никак уж не могли считаться желанными гостями, но все знали: они придут всенепременно и без приглашения.

Именно таковыми были Епифан и Тимофей, по-уличному Пишка и Тишка, два средних лет приятеля, о которых принято говорить, что их водой не разольешь. Ни по внешним данным, ни по характеру они ничем не походили друг на друга, Епифан достаточно высок, остер на глаз и хитрющ, в озорную свою словесную сеть мог запутать кого угодно, да так, что и не выпутаешься; относительно нравственных устоев имел понятие самое смутное, он полагал недозволенным лишь то, что создавало для него какие-никакие неудобства, в дружбе оказывался не столь надежен, чтобы на него можно было вполне положиться. Тимофей, на долю которого выпадало больше всего от беспощадных Епифановых насмешек, напрочно привязался к Пишке какими-то невидимыми путями. Был он мал ростом, тощ и носат, к тому же стыдлив

до чрезвычайности: без помощи Пишки, без его энергичного содействия он бы так, наверное, и не решился подойти ни к одной завидовской молодежи.

Однажды, подвыпив, Тимофей совершенно серьезно попросил своего друга:

– Ты вот что, Пишка, ты уговорил бы Маньку Прохорову, а я б с ней того...

Это удивило даже Пишку.

– Ну и гусь! Видал его? Нашел дурака! Ежели я уговорю Маньку, так я сам и...

– Не-е, – по-прежнему серьезно возразил Тишка. – Ты на уговоры только и мастер, а на другое...

Чем кончились для Тишки те переговоры, неизвестно. Теперь и он, и его дружок давно оженлись, о поразительном Тишкином предложении вспоминали редко – так, для смеха, для того, чтобы потешить, повеселить завидовских мужиков.

Пишка и Тишка явились на свадьбу с некоторым опозданием. Как всякие люди, предпочитающие угостить себя за чужой счет, они были великие психологи. Приди, скажем, они сюда со всеми вместе – глядишь, получили бы от ворот поворот, потому что голова хозяина в ту пору еще трезва и, стало быть, хорошо помнит, кто приглашен, а кто нет. Пишка и Тишка по опыту знали, что приходиться надо часом позже, когда гости успеют пропустить несколько рюмок, по их душам разольется некая благодать, когда гулянье наберет силу, забушует, закроет, завихрится по-сумасшедшему, когда напрочно и начисто забывается не только о том, по какому поводу гулянье началось, но и про то, кто тут сват, кто брат, а кто пришей-пристебай. Вот тогда и тебя, как щепку в водовороте, подхватит, завертит вместе со всеми и увлечет в пучину ничем уже не остановимого веселья.

Помнили Пишка с Тишкой и о том, что задерживаться с приходом на гулянье слишком долго тоже нельзя: не ровен час, опередят другие, также хорошо усвоившие подобный образ действий. Таких, к великой досаде Пишки и Тишки, развелось немало в Завидове. Однако наши дружки упредили всех своих конкурентов, оставили их толкаться где-то там в сених и ждать, когда и про них вспомнит Леонтий Сидорович, а сами восседали хоть и не за красным, но все-таки за столом и на равных правах со зваными гостями. Не наделенные и в малой степени певческим даром, они восполняли этот свой недостаток превеликим усердием – орали «Хаз-Булата удалого» так, что стекла вздрагивали, а дежурившие за окнами бабы испуганно осеяли себя крестным знаменем, истово шепча: «Господи, помилуй! Что это с ними! Режут, что ли, там их, окаянных?»

– Ты што ж, Кузьма Митрич, думал купить Архипа Колымагу? – В особо торжественную и патетическую минуту при исполнении служебного своего долга лесник называл себя в третьем лице. – Поднес лампадку да и решил: готов, мол, Архип Архипыч, в моих теперя руках. Так, што ли? Шалишь, брат! Лампадка лампадкой, а лес-то государственный. А я-то, дуралей, думал, што ты меня так, по-дружески, угощаешь. А ты... Ну вот что, Кузьма Митрич, чтобы в последний раз. Не то прокурору дело передам. Ясно? Ну а топоришко-то забери у тебя на всякий случай...

За свое коварство Колымага едва не поплатился жизнью. Несколько парней из соседней деревни Кологривовки, в дома которой лесник тоже был вхож, сговорились, однажды зимней ночью подстерегли его на дороге, возле реки. Накинули на голову мешок и поволокли к заготовленной загодя проруби. И утопили бы, и концов бы никто не нашел, да везучим, видать, родился Архип: кто-то ехал по дороге и спугнул парней, так и не исполнили они своего страшного намерения. Впрочем, они могли надеяться, что проученный хотя бы таким образом Колымага станет помягче, покладистей, вспомнит наконец, что на иные дела ему лучше глядеть сквозь пальцы. Однако результат получился прямо противоположный: Колымага еще больше ожесточился и теперь уж совсем напоминал тургеневского Бирюка, с той лишь существенной разницей, что охранял не барский, а государственный лес как народное достояние и в обычной

жизни был в общем-то весьма общительным человеком. От приглашений в гости не отказывался, потому как никого не хотел обидеть – в том, что его отказ во всех случаях равнозначен кровной обиде, Колымага был убежден несокрушимо. И потому чужая «чарочка-каток» катилась в его поместительный «роток» бойко и свободно, не смущая совести. Люди хотят, чтобы он приходил, он и приходит – чего ж тут совеститься?

Не был приглашаем Артем Григорьев по кличке Апрель (впрочем, звали его в Завидове и Сентябрем и Августом – кому как вздумается). Не был приглашаем этот самый Апрель по причине невыносимо вздорного характера его жены. Обнаружив в чужом доме за веселым столом покорного ей во всем и вообще редко прикладывавшегося к чарке супруга, она обязательно учинит скандал и подпортит праздник честной компании. Зная, что гость он менее чем желанный, Апрель шел в дом, где затевалось гульбище, не с пустыми руками, а с большим конным ведром, в котором шевелились только что выловленные в лесных озерах шуки, караси, лини, голавли. Тихо входил в кухню, подмигивал заговорщически хозяйке, передавал ей ведро, шепнув на ухо: «Угощай гостей свеженькой рыбкой, кума, а я пойду». – «Куда ж вы, Артем Платоныч?! – запротестует хозяйка, потянет его, слабо сопротивлявшегося, в горницу: – К столу, к столу, куманек, не обижай нас!» Куманек, рассчитавший заранее все свои ходы, покуражится еще чуток, скажет раз и два: «Неколи, кума, мне, делов по горло» – и затем, как бы нехотя уступая хозяйке исключительно из уважения к ней, вежливо, всем своим видом показывая, что зашел, заглянул на одну лишь минутку, присядет на краешек пододвинутой ему табуретки. Минутка, понятно, растянется и на час, и на два, и на весь этот и следующий день. Что касается «делов», которых у него действительно по горло, то они много ждали – подождут еще маленько, не убегут. Поставленный бригадиром на поливных колхозных огородах и больше занятый рыбачьим промыслом, Апрель до того запустил хозяйство, что теперь и сам не знал, с какого краю к нему подступиться. С великим трудом собранный по селу какой-нибудь десяток баб и молодежи безнадежно взирал на джунгли из лебеды, осота и молочая, рванувшихся вверх на богатом поливном черноземе так, что даже длинноногий Апрель, зайдя в них, погружался по самую шею. А там, на дне, у подножья диких зарослей, медленно угасали бледные, насмерть заглушенные и задавленные ростки огурцов и помидоров.

Женщины и девчата, поахав и поахав, все-таки приступали к делу, выдергивали сорняки, складывали их в сторонке в сырые, курящиеся и пряно, остро пахнущие кучи, а однажды, разозлившись, – зачинщицей тут была Феня Угрюмова, – завалили колючим осотом и молочаем спящего Апреля, и, если бы та же Феня не сжалилась над ним, сердечным, задохнулся бы бригадир, угас, как те несчастные огурцы.

Нынче, услышав о свадьбе в доме Угрюмовых, Апрель скорехонько покинул свой бригадирский пост на огородах, быстро проверил сети в реке, из которых качали воду для полива, и почти бегом рванул в Завидово. Теперь он сидел возле Пишки и Тишки и руководил их пением взмахом костлявых своих ручищ. Сам не пел. Не в пример этим дружкам Апрель щадил уши угрюмовских гостей. О своем голосе он как-то рассказывал мужикам: «Петь-то я, ребята, любитель, и голос у меня огромный, да как-то все поперек рубит. Коль мне уж очень прищипит, петь захочется до смерти, уйду подальше в поле али в лес, где на версту вокруг нету ни души, и запою! Напоюсь всласть – и домой, потом на сон меня кинет почему-то, сплю трое суток как убитый. Вот какой я певун!»

Одною лишь минутой упредил Апреля старый почтальон Максим Паклеников. Чтобы сохранить великолепный повод для появления в доме Угрюмовых в первый день свадьбы, он три дня продержал письмо, посланное Гришей в начале прошлой недели, и только теперь вручил корреспонденцию. Вручивши, преспокойно уселся за стол. Не приглашали Максима в гости потому, что не жена, а сам уж он был великий скандалист. Но покамест для скандала Максим еще не созрел, Леонтий Сидорович краем глаз косил в его сторону, боясь упустить момент, после которого в темной и загадочной душе Максима подымался зверь...

Феня все-таки освободилась из-под мужниной опеки и выскочила во двор. Большой белой птицей взлетела на поветь – не видно было, как ее ноги перебирали лестничные перекладины, – начала тормозить брата. Серега, как проснулся, открыл глаза сразу, а Гриша недовольно кряхтел, ворчал, делая вид, что никак не очнется. А она уж почти плакала над ним, умоляюще твердя:

– Гришенька, за что ты так? Пойдем же, Гриш! Не обижай! Что скажут люди? Родной брат не идет в избу. Срам-то какой, Гриша!

– Не пойду, и не приставай ко мне. Иди к своему долговязому! – зло вымолвил Гриша и еще глубже зарылся в сухое прошлогоднее сено.

Поднялся на поветь и Филипп Иванович, встал там во весь свой великолепный рост и, наверное, был виден теперь отовсюду со своей португеей и кобурой на широком ремне. По вздрагивающим плечам Фени, стоявшей на коленях перед братом, а еще больше по сердитому черноволосому затылку и покрасневшим ушам Гриши жених понял, что не мил старшему Фениному брату, а вспомнив, что и младший ее братишка, Павлик, куда-то вдруг умотал, понял также, что не мил и тому шпингалету. Встав на колени рядом с Феней, глухо и виновато, как бы прося прощения, заговорил:

– Ну что же, Левонтич, так уж получилось. Вставай, шуряк, будем знакомиться. Мы ведь теперь с тобой не чужие...

Этот ли его просящий, извиняющийся голос подействовал или то, что рука сестры все еще теребила ласково жесткие его волосы, только Гриша внезапно встрепенулся, сел, повернулся и поглядел как-то сразу на сестру и на ее суженого все понимающими, уже совсем добрыми глазами.

– Давайте знакомиться, – сказал он и тронул плечо друга. – Это Серега, студент, мой товарищ. Он тоже из Завидова.

Гриша улыбнулся, и этого было больше чем достаточно, чтобы все вдруг стали вполне счастливы: и Феня, поскольку улыбка брата означала и одобрение и благословение ее замужества; и Филипп Иванович, который до этой минуты там, за столом, хоть и держался важно и независимо, но все-таки с большой тревогой ожидал встречи с Гришей; и Гриша, который знал, что наконец-то снял камень с души и сестры, и матери, и отца, и этого долговязого, скрипящего ремнями, судя по всему, милого дурня, для которого он, Гриша, стал шурином; и, конечно, Серега – он был счастлив вдвойне: и оттого, что повеселел его товарищ, и оттого, что сейчас они усядутся за стол и наполнят наконец свои студенческие, давно ропшущие желудки.

– Пойду прокладывать вам дорогу! – весело и совсем по-ребячьи объявил Филипп Иванович и спустился вниз.

Феня же принялась осматривать счастливыми блестящими глазами сначала брата, потом Серегу. Подивилась его новому костюму. Не дожидаясь ее вопроса, Серега сообщил:

– Тетка Авдотья прислала.

– Тетка Авдотья?! – неожиданно горячо воскликнула Феня и уж совсем непонятно отчего зарделась. – Она что же, пишет тебе?

– Изредка пишет.

– Она что же, собирается приехать?

– Собирается. К осени.

– Одна?

– Кажись, одна.

Феня немного смутилась, но потом опять оживилась, заулыбалась, осветилась вся добрым каким-то светом и потянула ребят за руки к лестнице.

Они шумно, друг за дружкой, спускались вниз, а из дома так же шумно и весело Пишка и Тишка волокли к калитке упирающегося Максима. За калиткой Максим вырвался, шагнул

было назад к дому, но запнулся, припал немощно на четвереньки, постоял в смешной и неудобной позе с минуту, плюхнулся на пузо и тотчас захрапел с жутким вихревым посвистом.

Это был, пожалуй, первый случай, когда Максим Паклёников вышел из игры, не успев никому причинить зла.

Феня смеялась, ласкала брата и его товарища теплыми, добрыми своими глазами и, только глянув на Серегин костюм, почему-то затуманилась на короткое время, зрачки сузились, пряча поселившуюся в них нежданно-негаданно печаль.

Глава 3

Свадьба как свадьба. Все вроде идет как нужно. На всякий пьяный рев «горька-а-а!», краснея и смущенно улыбаясь, невеста поворачивается к жениху, и они целуются. Делают это просто, на виду у всех, и никто не находит в том ничего худого. Серега почему-то вспомнил Лену, представил себе, как и она будет целовать своего большеголового Сеньку, как к ней приклеится множество бесстыжих пьяных глаз, – представил себе все это Серега и покраснел так, что слезы выступили. Но никто этого не увидел, потому что все были заняты свадебным представлением, которое вступило уже во второе действие. В положенный час дружка дал какой-то знак, и гости начали громко сообщать о своих дарах, потому как молодые теперь на нови и им необходима на первых порах подмога. Кто кладет на противень, заменявший поднос, деньги, кто – кусок материи, кто заверяет, что отдаст ярчонку, кто – поросенка, кто – пару курят, кто что.

Пишка, добровольно возложивший на себя обязанности по сбору подношений, подмигивая направо и налево наговатыми своими глазами, подзадоривает:

– Не скупись, сваха, не обеднеешь, поди!.. А ты, кума, о чем это призадумалась? Развязывай-ка свой узелок!.. И ты что, лесной разбойник, пришипился?! А ну-ка, Архип Колымажович, полезай в карман! У тебя, чай, в кубышке золотишко зарыто? Помню, как в торгсин заладил в начале тридцатых-то годов. Давай-давай! В тридцать третьем не бедствовал, как все мы, грешные. Так что раскошеливайся! Это тебе не топоры наши да пилы отбирать! Там-то ты проворный, а тут растерялся, сидишь, как красна девка!..

Колымага глядит на Пишку с предельной ненавистью, но в карман все-таки лезет и бросает что-то скомканное на противень. На лице его, исполненном благородного гнева, отчетливо отпечаталось: «На, подавись, горлодер несчастный, но только не попадайся мне на лесной тропке!»

Пишка тем временем тормозит другого, третьего, добирается и до своего дружка Тишки, принимается за него. Тот вмиг обливается потом, старается спрятать узкое, зверюшечье свое личико за спину соседа, делает отчаянные знаки Пишке, шепчет:

– Ты с ума сошел? Знаешь ведь, что у меня ни гроша за душой?!

Пишка успевает ему кинуть на ухо:

– Ты хоть обещай, дурья голова, а там поглядим!

Выход найден, лицо Тишкино озаряется: обещать – не давать, мало ли он кому и что наобещал! Оживившись, он делает ошеломляющее заявление:

– Телку летошнюю отдаю тебе, Фенька, и тебе, Филипп Иваныч, председатель наш дорогой, только налогов дери с меня помене, а то силов никаких нету!

Гости зашумели, закричали все и одновременно. Первая часть Тишкиного заявления хоть и поразила всех, но ненадолго, ибо рассудили: язык без костей, мало ли что может сболтнуть, на посулы Тишка горазд, это уж известно. Вторая же половина короткой его речи определенно понравилась всем и своею смелостью, и своею точной нацеленностью прямо в большое для всех завидовцев место. Она-то и вызвала такое оживление. В награду Тишка получил от хозяина внеочередную чарку самогона. Опрокинув ее, он и сам уж почувствовал себя героем, сделался не в меру криклив; ораторствуя, размахивал руками так, что сидевшие по соседству с ним наклонялись, чтобы не встретиться носом с костлявым Тишкиным кулаком. Феня глянула на жениха: не обиделся ли он? Нет, не обиделся: улыбается во весь рот, поощрительно кивает в сторону разошедшегося Тишки: давай, мол, давай, чего там, крой!

– А ты бы, милоч, замолчал, что ли! – посоветовал другу Пишка и прикрыл своей лапшой Тишкин рот.

Крутнув головой, Тишка высвободился и тотчас же обрушился на товарища:

– Ты, Епифан, не заткнешь своей поганой рукой мои уста, понятно? Ты лучше скажи нам, что положил на поднос, а? Что? Примолкнул? То-то же и оно! – Теперь Тишка и сам был решительным образом убежден, что дары его уже совершенные и он имеет полное моральное право требовать, чтобы то же самое делали и другие. – Давай вынимай свою трешку, за ошкурком она у тебя припрятана!

Пишке ничего не оставалось, как пошарить за ошкурком и извлечь оттуда старенькую, насмерть измученную трехрублевку. Знай Тишка, что за свою выходку получит по шее, он, верно, поубавил бы прыти. Звончайшим подзатыльником Тишка был пожалован, едва они вышли за ворота, покидая к вечеру гостеприимный дом Угрюмовых, и притом со строгим предупреждением:

– Ежели еще такое сотворишь, пустомеля, повыдергиваю твои ноги оттель, откель они у тебя произрастают. Ясно?

– Ясно-о-о, – виновато протянул Тишка.

– «Ясно!» – передразнил Пишка. – Может, тебе ясно и то, на какой шиш мы завтра будем опохмеляться? Трешонка-то уплыла к долговязому преду. Эх ты, раззява! Мало я тебя, видать, еще луплю! Теперя сам пойдешь у моей Дуняхи кланчить на мерзавчика. Может, и она угостит тебя по шее ухватом. Он у ней, проклятушей, всегда под рукой...

Свадьба между тем шла своим чередом. Гости явно отяжелели – не то что петь, выкрикивать «горько!» не хватало сил. Трезвыми оставались лишь мать, Феня, ну и, конечно, Гриша с Серегой, которые так и не решились выпить хотя бы по одной. Гриша не спускал глаз с сестры, он не верил в ее счастье, видел, что и она не верит, и оттого и смех ее, и улыбка, и короткие вспышки разговорчивости, и ее кивки в ответ на какой-то шепот мужа – все, все было ненатуральным, она просто играла, играла неумело, и Гриша видел, как мучительна для нее эта игра, и ему было очень жаль ее. Да и откуда бы взяться счастью? Совсем недавно Феня даже не слышала про Филиппа Ивановича, не видела его, ничего не знала о нем, и вот он сидит рядом и приходится теперь ей мужем, и пошла-то она за него только потому, что мать сдонжила, поедом заела одной и той же своей песней: «Останешься в девках, никому не будешь нужна! А тут жених какой!..» А Фене лишь недавно пошел восемнадцатый (ей и регистрироваться еще нельзя было по закону), ее подруги-комсомолки и не думают еще о замужестве, и даже смешно стало, когда узнали, что Феня выходит замуж. Фенька – и замужем? Это очень даже чудно!

Гриша пристально смотрел на мать, на отца и понял: им тоже не по себе. Материнское сердце подсказывало Аграфене Ивановне, но, видно, поздно – поторопились они с этой свадьбой, и во всем виновата она, мать. Иногда ее взгляд встречался со взглядом дочери, и всякий раз Аграфена Ивановна видела один и тот же вопрос: «Ну, ты теперь довольна, мам?» Мать торопливо отводила глаза в сторону, чувствуя, что сначала к сердцу, потом к вискам подступает горячая кровь. Леонтий Сидорович был почти непроницаем – по его лицу трудно было определить, что затаилось в сердце. Он разливал вино и, казалось, целиком был поглощен этим занятием. И по тому, что это, в сущности-то, веселое дело он исполнял слишком сосредоточенно, Гриша подумал: наверное, не без длительной борьбы с матерью дал отец свое согласие на замужество Фени и сейчас хотел лишь одного – чтобы свадьба была как свадьба, чтобы на миру не сказали о ней ничего худого, чтобы гости разошлись довольными.

– Пошли, Серега, в лес, – шепнул Гриша.

Они потихоньку снялись со своих мест и вышли на улицу. Никто этого и не заметил. Никто, кроме Фени, которая опять забеспокоилась, глянула встревоженными глазами на мать, на отца, но ничего не сказала.

Перед тем как пойти в лес, Серега и Гриша заглянули в школу, которую окончили в прошлом году. Никого там, как им и хотелось, не было. Тихо, как в церковь, вошли в зал, руки сами собой сдернули кепки. Вот сюда целых семь лет они выбегали из класса на перемену, устра-

ивали тут кучу малу, гонялись за визжащими девчонками. Сейчас зал представлялся странно маленьким, такой же показалась и вся школа – и классы и учительская. Серега и Гриша заглянули в нее впервые и безбоязненно. Все как-то сузилось, сжалось, стало тесным. Таким, должно быть, взрослая птица, вернувшись спустя какое-то время, находит гнездо, в котором увидела свет. Грустно... Гриша вспомнил про сестру. Покраснел и поморщился от неприятной мысли, что придет ночь, и Феня поведет своего долговязого за нарядную занавеску, не стыдась и не смущаясь. Странно. Странно и гадко, пожалуй. Но ведь рано или поздно когда-то такое должно произойти. Чего ж он дуется?

Собственные шаги гулко отзывались в сердце. А чужие ударили в него совсем уж оглушительно. Оглянулись оторопело. По коридору в зал шел высокий сухой старик.

– Дядя Коля! – радостно, хором воскликнули ребята.

– А, это вы, академики! – дядя Коля взял их за уши и, сведя головы, легонько стукнул одну о другую. – На праздники приехали? Опоздали маненько. Что ж, Григорий, свадьба, слышь, у вас?

– Свадьба.

– А ты... что так? – спросил дядя Коля, понявший по голосу Гриши, что тому, видать, не по душе она, свадьба. – Недоволен, стало быть? Ну вот что... Послушай меня, старого: в такие дела лучше не совать носа. Девка созрела, ей надобен муж. Только и всего!

Гриша и Серега глядели на дядю Колю и удивлялись: совершенно трезв и говорит с ними на понятном языке. Может, остепенился, взял себя в руки бывший моряк, перестал пить.

В своих бесконечных странствиях в заморские края дядя Коля повидал так много, что слушать его – когда он, конечно, был не в подпитии – одно удовольствие. В последние годы таких минут выпадало все меньше и меньше; может, причиной тому – трехмесячная отсидка в саратовской тюрьме, куда дядя Коля попал за необузданную свою фантазию. Любивший приписывать себе дела необычайные, он как-то распустил слух, что изобрел «деньгодельный» станок. Для того чтобы новость эта самым коротким путем дошла до односельчан, продемонстрировал действие станка перед женою. Загодя разменял в районной сберкассе десятку на совершенно новые, не бывшие в ходу, пятаки, забрался на печку и предупредил супругу: «Оришка, поди-ка к печке да приготовься, деньги будешь собирать!» После этих слов загредел какими-то железками, заскрежетал, застучал, и на шесток прямо на глазах потрясенной Оришки посыпались пятаки. Через час все село узнало об изобретении дяди Коли. А еще через час в его дом явился милиционер. «Деньгодельного» станка он, понятно, не обнаружил, но дядю Колю на всякий случай арестовал и препроводил в район. Оттуда его направили в Саратов, в место предварительного заключения, где дядя Коля и пробыл помянутые три месяца. Вернувшись, запил смертно. При этом пробудилась в нем неистребимая потребность проповедничества. Пьяного, его всегда тянуло на люди. Особенно любил дядя Коля «покалякать» с молодежью, поучить ее уму-разуму. Придя, бывало, в школу – хаживал он туда частенько, – представлялся лектором, посланным в Завидово самой аж Москвой, и начинал нести такую околесицу, кто класс показывался со смеха, а растерявшаяся учительница, краснея и бледнея, не знала, что ей делать, как выпроводить «лектора». «Рим, – говорил обычно он, вздохматив и без того вздыбленные темные с проседью волосы, – Рим, ребяташки, – это два креста. Первый крест – это...» Почему Рим – два креста, ученики так и не могли понять из «лекции» дяди Коли, коему, правда, никогда и не удавалось прочесть ее до конца. Придя в себя, учительница бежала за директором... Великанского роста добряк из добряков, обладавший недюжинной силой, директор брал дядю Колю под мышки, молча поворачивал, покорного, лицом к двери и уводил, как провинившегося школяра, к себе в кабинет. Там они и объяснялись – а как, ребята уж не знали. С неделю после этого не видели дяди Коли, а потом он являлся сызнова, и веселое действо повторялось, к вящей радости учащихся и великому неудовольствию учителей.

Да, удивительный человек дядя Коля! Ребята «проходили» Горького и были совершенно убеждены, что тот списал своего Челкаша с ихнего дяди Коли, повстречавшись с ним во время своих скитаний в каком-нибудь черноморском порту, может, в той же Одессе, где дядя Коля был не единожды. Разница состояла лишь в том, что дядя Коля никогда не крал. Правда, он мог поозоровать, как случилось с ним однажды в дореволюционные еще времена в маленьком поселке на Саратовщине.

Потолкавшись на базарной площади и убедившись, что никого там из знакомых нету, а значит, и надежд на опохмелку нет никаких, дядя Коля решительно направился в трактир. Уселся за столик, поманил глазами малого, заказал отбивную и стакан «смирновки». Быстро все «усидел», потребовал еще. Управившись в какую-то минуту и с этим, поднялся и преспокойно, с видом человека, который только что совершил более чем благородный поступок, направился к двери. Малый некоторое время провожал его глазами: что же случилось с человеком? Может, забыл, что надо расплатиться, может, вот сейчас вспомнит, вернется, извинится и полезет за кошельком? Он скажет ему: «Бывает» – только и делов. Однако дядя Коля и не думал возвращаться. Видя это, служитель трактира громко закричал: «Эй, господин, а кто за вас платить будет?!» Слова эти достигли дяди Колиного уха, когда нога его покидала последнюю ступеньку крыльца. Дядя Коля остановился, изображая сердитое недоумение. «В чем дело?.. Ах, да, – небрежно проговорил он. – Заплатить же надо... Ну, это мы мигом! Обождите минуточку. Я сейчас!» Он вернулся в трактир, остановился возле дверного косяка и, ерничая, начал вертеть воображаемую ручку телефона. Покрутив сколько там положено, сипловато заговорил: «Это Лондон?.. О-очень хорошо! Барышня, дайте, пожалуйста, квартиру короля!.. Хорошо... Это король? Ваше величество, здарсьте!.. Да, да, это я, совершенно верно, дядя Коля; вспомнили, значит, моряка?.. Так вот, ваше королевское величество, дядя Коля пропился. Вышлите, будьте добры, червонец... Нет, больше не надо, один червонец. Покорно вас благодарю!» Дядя Коля крутнул несуществующую ручку один раз вправо, другой – влево, потом подошел к оглушенному окончательно всем этим представлением малому и вежливо молвил: «Не волнуйтесь, голубчик, успокойтесь, скоро вы получите ваши деньги. С прибавлением на чай, разумеется. Это вам говорит дядя Коля, знаменитый моряк!»

Заверений этих, однако, для малого оказалось недостаточно. Он выскочил на крыльцо и стал звать околоточного. Дядя Коля успел-таки прошмыгнуть мимо и в тот момент, когда подбежал блюститель порядка, стоял уж посреди площади в самом центре огромной лужи. Околоточному, понятно, не хотелось пачкать своих сапог, и он решил покамест повести с дядей Колей мирные переговоры. «Вылазь, милок, добром прошу!» – начал он. «А зачем?» – отвечивал невозмутимо дядя Коля. «Вылазь, тогда узнаешь зачем». – «А ежели я не вылезу?» – осведомился мирно дядя Коля. «Вытащим силком!» – «Милости прошу, сделайте одолжение», – дядя Коля недаром мотался по свету, усвоил-таки вежливую форму обращения с людьми, а с власть предержащими – в особенности. «Как вас зовут?» – спросил околоточный, вытаскивая из кармана какую-то книжицу. «Дядя Коля!» – отозвался моряк. «Фамилие как, спрашиваю?» – «Фамилию забыл, совсем запамятовал, ей-богу!» – «Ну ты вот что, дурака-то не валяй, плохо ведь будет!» – «Куда уж хуже: стою по колено в грязной воде, а вы-то на сухом бережку! Впрочем, к воде я привычный, десять лет, почесть, проплавал...» – «Так не выйдешь?» – «Никак нет, господин начальник!» – «Ну, смотри же у меня, поваляешься завтра в ногах, полундра пьяная!» – «Никак нет, господин начальник, дядя Коля ни у кого в ногах не валялся, даже у барина Ягоднова, когда в работниках у него, живодера, был. С какой же стати я встану на колени перед блюстителем порядка, какой завсегда на стороне слабых?» Последние ли дяди Колины слова, или то, что вокруг стала быстро скапливаться толпа веселых зевак, которые явно брали сторону дяди Коли, подействовали на околоточного, или, наконец, и в нем пробудилось вдруг чувство юмора, но он рассмеялся, махнул рукой и отошел прочь. Уж издали крикнул опешившему половому: «А ты, милый, сам следи за своей клиентурой! Поднял

шум из-за ерунды, из-за каких-нибудь пятидесяти копеек!» Словом, этот случай окончился для дяди Коля благополучно. К несчастью, не все люди наделены чувством юмора. Знай про то дядя Коля, он провел бы со своим языком «разъяснительную» работу и посоветовал бы ему побольше держаться за зубами, да и в поступках своих был бы осмотрительней...

Может быть, дядя Коля и в самом деле остепенился? Во всяком случае, сейчас он был серьезен. Темные редкие волосы причесаны, даже неровный проборчик побежал от левого виска к затылку. Серега и Гриша глядели на него такого вот и чувствовали, что им не хватает чего-то в дяде Коле. Странное дело: человек трезв, разумен, говорит толковые слова, а им чего-то не хватает в нем. Чего же? Неужели его прежних пьяных причуд?

– Дядь Коля, я вот вспомнил про ваш деньгодельный станок. Для чего вы это все придумали? – спросил вдруг Серега.

Дядя Коля долго молчал. Потом поглядел на Серегу, сказал с незлобивым укором:

– Глупый ты еще, Серега, хоть и студент. Ничегошеньки-то не понимаешь в жизни. – Он опять долго молчал, думал о чем-то. – Как ты считаешь, для чего людям сказки? Молчишь? А еще про деньгодельный станок... Эх ты, цыпленок!

И ушел из школы, не прибавив больше ни слова.

Серега и Гриша, притихнув, какое-то время еще стояли посередь зала. Затем, не сговариваясь, тоже направились к двери.

Реку переплыли на крохотной лодчонке, выдолбленной из осинового бревна. Пробрались по узкой, затравеневшей уже тропке к Ерику, старице речки Баланды, где прежде любили сиживать. Угнездившись под талами и бездумно, молча стали глядеть на воду. Тут была своя жизнь. И свои свадьбы. Отовсюду к берегу, отталкиваясь задними перепончатыми лапами и вытарашив глазищи, догоняя одна другую, плыли большие зеленые лягушки. В тридцать третьем все они были съедены голодными людьми, а теперь вот опять расплодилось. Лягушки еще не огладили своего хора, но у многих на щеках уже вспухали пузыри – свадебные волынки. Звуки «уурыва, уурыва», принадлежавшие не то одним женихам, не то одним невестам, сначала были разрозненны, постепенно к ним подключались другие, и это уже походило на перебранку, в ответ на «уурыва» там и сям слышалось: «А ты ка-ка-я, а ты ка-ка-я?» И вот то и это соединилось, смешалось, и возник хор – жутко нескладный, не благостный для человеческого уха, но своеобразный, единственный в своем роде, который мог принадлежать только лягушкам, и никому более. Послышался легкий всплеск воды, крики усилились, стали неистовей, яростней. Вода забулькала, вскипела, как во время внезапного ливневого дождя. Началась какая-то непонятная карусель.

– Небось тоже орут «горько!», твари! – сказал Гриша и весь передернулся от охватившего все его существо отвращения. – Пойдем отсюда, Сережа!

Сереге было непонятно состояние товарища, самому ему нравилась лягушачья возня. Уговорил Гришу остаться. Тот натянул кепку по самые плечи, повернулся на бок.

Вскоре и Гришу, и прильнувшего спиной к нему Серегу сморила усталость. Приятели заснули. Перед тем как лечь, пиджак свой Серега повесил на сучок тала. И проснулся оттого, что ему почудилось, словно кто-то подкрался и тихо снял пиджак. Открыл испуганные глаза и увидел Феню. Она сидела, охватив руками колени и упершись в них подбородком. Темный Серегин пиджачишко покрывал ее опущенные, странно сузившиеся плечи.

– Спи, спи. Скоро утро, – шепнула она Сереге. – Филипп Иваныч набрался, спит как убитый. Я потихоньку выскочила из дому, пошла вас искать. Спите, а я посижу возле вас. – Феня поправила на себе пиджак, застегнула на одну пуговицу, кончиком рукава задумчиво коснулась лица.

Лягушачья свадьба, видать, тоже стала выдыхаться к утренней зорьке. Крики сделались реже, и им уже не доставало прежней ярости. Похоже, такие празднества не могут длиться долго. Их не хватило даже на одну эту короткую майскую ночь.

Глава 4

У Леонтия Сидоровича и Аграфены Ивановны Угрюмовых было семеро детей. Феня – старшая среди них, первенец, на долю которого по условиям сельской жизни меньше всего выпадает родительских нежностей. Может, ее и баловали поначалу, но Феня не помнит, когда это было. Она уже с шести лет стала главной помощницей матери. Исключая Гришу, для пяти-шести своих младших братьев и сестер она была няней, из года в год, по мере того как появлялись на свет дети, они сменяли друг друга на Фениных руках. Когда – от поноса, от скарлатины, от другой ли какой хвори – дети помирали, Аграфена Ивановна, всплакнув чуток, тихо творила в собственное утешение: «Бог прибрал». Кроме возни с малышами, у Фени было еще много-много других разных дел. В семь лет на крепенькие плечи девочки легло коромысло с двумя ведрами – не игрушечными, а настоящими, наполненными, правда, только наполовину. Бывало, несет их от колодца, а сердечко стучит торопливо и испуганно, а спина выгибается, того и гляди переломится. Аграфена Ивановна всплескивает руками, ворчит: «Почесть полные?! Да ты никак с ума сошла, Фенюшка!» А сама страсть как довольна, что не придется идти за водой, что появилась наконец подмога. Отчетливо различив радость в голосе матери, Феня бежит к зыбке, выхватывает оттуда ребенка, убирает из-под него мокрое, закутывает красное тельце в сухую, только что снятую с печки пеленку, вновь укладывает и начинает петь, подражая матери, своим тоненьким голосочком:

Ах, усни, усни, усни,
Угомон тебя возьми.

Ребенок засыпает, а Феня бежит уже к большому деревянному корыту, над которым клубится вонючий от дешевого стирального мыла пар. На полу возвышается гора рубаш, штанов и платьев. Мать успела только простирнуть все это, а Феня должна завершить стирку и развесить шоболы во дворе на плетнях и на веревках. Потом – огороды, прополка и полив картошки, огурцов, свеклы, помидоров; таскает из речки по крутым ступенькам ведро за ведром, пока не упадет в изнеможении и мать, завидя такое, не скажет под конец: «Иди, доченька, отдохни, золотая моя работница! А я уж сама докончу».

Затем прибавились школьные заботы, очень приятные и радостные для Фени, – на добрых полдня она уходила от пеленок, от коромысла, от белья, которое никогда не перестираешь. Мать же охала и ахала, сердито поджимала губы; за обедом, за ужином ли непременно заводила одну и ту же песню. «Сил моих, отец, больше нету, – Аграфена Ивановна обращалась к мужу, а Феня знала, что слова эти предназначены для нее, – руки уж опускаются. Доколи буду все одна да одна чалить по дому? Ведь вас вон какой содом!» А когда Феня собралась однажды в пионерский лагерь, мать решительно взбунтовалась: «Не пушу! Не бывать этому! Ишь ты чего надумала, бездельница! Будешь там хабалить у костра, а огороды все вон цыганка задушила, и осот да молочай вымахали по самую шею. Чего тут я с ними одна-то делать буду!» И она шлепнула по затылку подвернувшегося случайно Гришу.

От пионерского лагеря пришлось отказаться. По вечерам, встретив Пестравку и загнав ее во двор, Феня потихоньку убегала к речке. Там, за рекой, как раз напротив того места, где она сидела пригорюнившись, горел большой костер, знакомые мальчишки и девчонки прыгали возле него. Смеялись, потом начинали петь. Пели и про картошку-объеденье, и про дедушку Ленина, у которого так много внучат, желающих умереть не иначе как в сраженьях, и не где-нибудь, а только на валу мировых баррикад, и про паровоз, у которого остановка лишь в коммуне, и про знамя, которое горит и рдеет нашей кровью, и про многое другое, что будоражило Фенино воображение. Всхлипнув от горькой обиды, она убегала домой, лезла на сеновал, где

у нее в летнюю пору была постель; засыпала, однако, не скоро. Но и засыпая, все слышала и слышала далекие голоса: «Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала». Ей снились те самые юные бойцы, среди них были и она, Феня, и Авдей Максимов, прозванный Белым за светлые свои кудри, – он был рядом и почему-то держал Феню все время за руку, – и Маша Соловьева, Фенина подруга, и какие-то еще девчата и ребята, которых она не знала, но вроде бы где-то уж видела их. Часу в четвертом утра Феню будила мать – надо было проводить в стадо только что подоенную Пестравку. Вставать ох как не хотелось! Но Феня вставала, спускалась по зыбким перекладам лестницы на землю и, полусонная, шла вслед за коровой, а та и сама хорошо знала, куда надо идти.

После третьего класса школу пришлось покинуть, и навсегда. Настояла Аграфена Ивановна, которой в самом деле было тяжело с большой семьей.

– Пушай Гриша учится. Ему это нужней, – сказала мать.

Феня умоляюще глядела на отца, думала, что заступится, но Леонтий Сидорович промолчал, крикнул только, шумно высморкался – как делал всегда, когда был чем-нибудь недоволен, – и удалился во двор. Ему было и жаль дочь, но ведь и мать права: не справиться ей с домом. Да и трудодней отца не хватит, чтобы прокормить такую большую семью; Фене, стало быть, тоже надо выходить на артельную работу. Поплакала-поплакала она тайком на повети, а утром положила в платок два вареных яйца, огурец да кусок ржаного хлеба, связала все это в узелок и пошла в поле, на ток, где продолжался запоздалый обмолот колхозной пшеницы. С удивлением и радостью увидела там Машу Соловьеву, которая тоже оставила школу, впрочем, кажется, без особого сожаления: боевая во всех отношениях, Маша была безнадежно глуха к школьным наукам, не давались они ей, и это обнаружилось уже в первом классе, где Маша задержалась на два года. В четвертый класс Машу не перевели, а оставаться еще на одну зиму в третьем она сама не захотела. Получив порку от батьки, веселая и беспечная, отправилась в поле помогать взрослым на току. Там-то они и встретились с Феней, и обоим стало повеселее.

В голодном тридцать третьем лихо было бы семье Угрюмовых без Фени. Леонтий Сидорович совсем уж выбился из сил и, как нередко бывает с мужиками, первый пал духом. Сел он на приступке крыльца, обхватил руками голову и горько задумался: куда пойти, у кого просить, когда все сидят без куска хлеба? В эту-то минуту и объявилась старшая его дочь Феня с мокрым мешком за плечами. Она сбросила его с ноющей спины на землю, подошла к отцу, подняла ладонями его голову, заглянула в лицо синими своими глазами. Странные у Фени были глаза: при малой, большой ли радости – синие-синие, как весеннее небушко; встревожится – они темнели, и их можно было принять за черные; а когда Феня сердилась, глаза ее делались яростными, словно бы раскалялись добела. Сейчас же они у нее были прямо-таки лазоревые. «Вот... еду принесла, тять!» – сказала она и высыпала у ног отца ракушки. С того дня Феня выходила на реку каждое утро. Сильная, умеющая хорошо плавать и нырять, она выискивала ракушки чуть ли не на середине реки, в самой глубине, потому как у берегов их уже не было – все пособирали другие люди. Вскоре вместе с нею на этот промысел стал выходить и Авдей. С ним дела пошли еще скорее. Он нырял вниз головой и долго шарил под водой, торча вверх попкой, как селезень. Выхватив большую ракушку, бросал ее на берег, где Феня тут же прятала добычу в мешок. Когда Авдей истрачивал свои силы, ему на смену плыла Феня.

Как-то они ныряли вместе, и там, под водой, Авдей нечаянно натолкнулся рукою на Фенину грудь, испуганно отпрянул, вынырнул и поплыл к берегу. Потом подплыла и она, какое-то время сидели молча и не глядели друг на друга. Потом вновь поплыли за ракушками, но только Авдей нырял уже далеко в стороне.

Осенью тетка Авдотья увезла Авдея Белого в большой город – к старшей сестре. Он уехал, не простившись с Феней. Он просто не знал, что с кем-то еще надо прощаться. Уехал, и все. Никто даже и не заметил в Завидове, что нету больше Авдея Белого. Многие на ту пору покидали свое родное гнездовье.

Вскоре после его отъезда Феня неожиданно спросила у матери:

– Мам, Авдей нам родной?

– А как же. Ты ему двоюродная племянница будешь.

– Значит, он мой дядя?

– Ну да.

– Это как же, мам? Он толечко на один год старше меня и – дядя?

– Бывает и так, Фенюшка. А почему ты спрашиваешь меня об этом?

– Так...

Годы бежали. Начал забываться и тот страшный тридцать третий. В тридцать пятом Феня стала комсомолкой... Ну а теперь вот подвернулся он, ее суженый, родом из заволжских степей; едва вернулся из армии – область направила сюда. Это произошло, когда Аграфена Ивановна все чаще и чаще страшила свою дочь:

– Досидишься ты, глупая, проморгаешь всех женихов, останешься в старых девках, кому тогда нужна! – И, будто что-то чувствовала, сердито добавляла: – А про того сукиного сына позабудь!

– Про кого ты, мам?

– А то не знаешь? Приедет – на порог не пушу! Возле нее такие парни увиваются, а она...

– Какие еще парни? Где ты их видела?

– А Филипп Иваныч? Аль не пара? Глянь, какой представительный. И образованный, чай, не нам чета!

– Ну коли не нам чета, то и не нужен он!

– Это еще что? Да где ты найдешь еще такого жениха?

Как-то вечером Филипп Иванович увязался за Феней на комсомольское собрание. А потом стал искать всякую минуту, чтобы чаще быть с нею рядом. Кончилось все свадьбой.

«Свадьба... муж?!»

Феня передернула плечами, как давеча ее брат Гриша. Она понимала, что задерживаться ей тут, у Ерика, не следовало бы, в любой час может проснуться Филипп Иванович – что подумает о ней? Ведь что случилось, того, видимо, было не миновать – судьба. А коли так, рассуждала она, буду любить его, буду холить, прибирать его, моего родного, моего суженого, моего единственного, пускай завидуют ему все ребята, пускай и Авдей, когда приедет погостить, посмотрит, какая я жена!

Мысль эта подбодрила Феню. Она торопливо поднялась, накрыла Серегиным пиджаком спящих ребят и бегом направилась к дому, думая про себя: «Только бы не проснулся Филипп Иваныч. Только бы не проснулся, тогда все будет хорошо. Все, все будет хорошо!»

Серега и Гриша пробудились от шумного всплеска воды и от громкой ругани Апреля, который, вернувшись со свадьбы, решил проверить сети, поставленные им третьего дня в Ерике, богатом и щукой, и карасем, и линем, и плотвой, задержавшимися тут после половодья. Апрель повременил бы с этим делом, отыщись у него другой предлог вновь заглянуть в дом, где наверняка будет продолжено свадебное пиршество. Как ни мучился, ничего сколько-нибудь толкового не придумал. Выручить могла только рыба, но ее надобно было еще выбрать из сетей, если она догадалась запутаться в них.

Рыба не догадалась. В двух проверенных снастях оказалась единственная плотица. Вся надежда была на третью снасть, но она зацепилась низом за корягу. Таким образом, планы Апреля безнадежно рушились. Для начала он выматерился как следует, вдохновил себя этим и приступил к делу, которое едва ли можно отнести к разряду благоразумных. Вместо того чтобы осмотреться, спокойно оценить обстановку и распутать сеть, незадачливый рыбак, выгнув шею по-ястребиному и хищно оскалась, стал терзать несчастную снасть, рвать ее на звенья и в ярости выбрасывать на берег. Это был уже не первый случай, когда у Апреля не хватило терпения

и он поспешил затратить каких-нибудь десять минут, чтобы спасти рыбацкое снаряжение. Потом у него достанет и выдержки и усердия, чтобы всю зиму, с утра до поздней ночи, вязать новую сеть: странно устроен иной русский человек!

Ребята знали эту особенность Апреля, а потому и посоветовали:

– Ты б отцепил ее, дядя Артем. Зачем же вещь губить?

– Не она меня, а я ее сделал, – отвечив Апрель, продолжая с еще большим ожесточением свое занятие.

– Пойдемте к нам, дядя Артем! Там, поди, продолжается свадьба, – предложил Гриша.

– Знамо, продолжается. Да ить погнать в шею могут. Турнут ведь, как ты думаешь? – сказал Апрель.

– Пойдемте, чего там, – решительно позвал Гриша.

Выдрав последние клочки сети и забросив их далеко в ветлы, Апрель быстро погреб к ребятам. Причालив и ступив на берег, поздоровался:

– Ну, здравствуйте, шпингалеты! Пойдемте, что ли?

Уже перебрались через реку, уже подходили к дому, когда старик резко остановился и объявил:

– Не пойду, ребята! Вы идите, а я...

Гриша принялся уговаривать, и Серега помогал ему. Но Апрель наотрез отказался. Студенты не видели того, что успел заметить спутник: опередив их, в дом Угрюмовых нырнули Пишка и Тишка.

– Вы идите, а я вернусь к сетям, – договорил старик и спорым шагом направился опять к реке.

Серега и Гриша поняли, что в этом случае им надлежало делать.

Вскоре они опять уже сидели у Ерика, угощали Апреля самогоном, похищенным со свадебного стола, а он их – рыбацкими и охотничьими историями, восходящими по времени к годам, давно минувшим, то есть к тем годам, когда старик Апрель был вовсе не старик, а совсем молодой парень, когда на земле и леса были гуще, и реки глубже, и травы выше, и люди не в пример племени нынешнему – богатырь к богатырю, когда, стало быть, и чудес разных было куда больше, нежели теперь. Сереге и Грише, конечно, трудно поверить в такое, но все рассказанное Апрельем – сушая правда, недаром же всякий раз перед тем, как начать новую историю, он истово осенял себя крестным знамением и только уж потом начинал.

– Взять вот хотя бы шуку, – говорил старик, довольно и сыто жмурясь на солнце, при этом он как бы нюхал душистый майский воздух большим своим, обработанным еще в детстве оспую носом. – Да, шуку... Вы, поди, думаете, что она существо безмозглое, что у ней нету разума? Как бы не так! Вот послушайте, что я вам расскажу про нее, зубастую мошенницу...

Солнце показалось из-за леса и на какое-то время ослепило и рассказчика и слушателей, на лицах которых загодя, как бы про запас, поселилась улыбка, та, что бывает у людей, приготовившихся внимать охотничьим побасенкам: знаем, мол, что брешешь ты как сивый мерин, но валяй рассказывай, слушать-то все равно интересно!

Ни Серега с Гришей, ни кто-нибудь другой, оказавшийся на их месте, не могли знать об одном весьма важном обстоятельстве: не знали они того, что охотники и рыбаки никогда не врут. Если им и случается поведать о чем-то таком, во что трудно, почти невозможно поверить, то виною тому характер, который у охотника или рыбака не как у обыкновенных людей. Дело в том, что самая малая удача в лесу, в степи, на реке ли, каковая все-таки изредка выпадает на долю охотника или рыбака, в дальнейшем начинает претерпевать в его рассказе удивительные превращения, когда подстреленный где-нибудь у лесной опушки зайчишка обернется вскорости матерым волком, а малюсенькая плотица либо уклейка, выуженная в реке, – пятикилограммовым жерехом, а чей-то там неслыханный успех непременно будет выдан им за свой собственный, только и всего. Как видите, враньем тут и не пахнет. Знай про то Серега и Гриша,

они бы не морщили своих губ, не складывали их в ироническую ухмылочку в то время, как Апрель был серьезен до чрезвычайности. Он даже полез в карман за кисетом, когда на него нахлынули воспоминания.

– Вышли мы с Колымагой – он только пятью годами моложе меня будет, – вышли мы с ним к Лебяжьему озеру до свету, когда коров еще не выгоняли, чтобы захватить утку на воде – с восходом солнца она улетит в поле, на кормежку. Присели у пенька, молчим, ждем, когда туман рассеется, за ним-то не видать ни шута, глядим, как в молоко. А слышим: крикают и плещутся полегоньку. Утки. От нетерпения, от росы, от утренней прохлады начинаем подрагивать, приспели откель-то комаришки – к концу августа они еще были. Принялись жалить, кусать, но ни выругаться, ни шлепнуть ладошкой, прибить его, треклятого, нельзя: спугнешь дичину. Молчим. Ждем. С час, кажись, просидели, пока туман не поредел. Показались утки. Медленно так выплывают из осоки на самую середину прогалины. Впереди – селезень, за ним – три самки-матери, потом – чирки, лысухи, нырки, мелочь разная. Что-то около дюжины. Мы, понятное дело, взяли на прицел материг. Бабахнули разом. Когда дым улетел, видим: две утки лежат на воде вверх пузом, а третья плавает боком как-то вокруг них, шлепает по воде одним крылом, крикает. Скинул Колымага штаны, рубаху – поплыл. Забрал убитых, ухватился и за подранка. Тащит и чувствует, что утка вроде бы зацепилась за что-то. Подтащил ее все-таки к берегу, зовет меня на помощь. Что, говорит, за оказия? Потянули вдвоем и у самого берега увидели ее, щуку. Преогромная, ухватилась зубами за утиные ноги и тянет к себе, как, скажи, собака. Вам бы прикладом ее по башке, а мы сробели, струхнули от неожиданности: не часто бывает такое. И что же бы вы думали? Перехитрила она нас, вырвала утку, которую мы втроем-то успели уж задушить. Вырвала – и в осоку, только ее и видели! Вот вам и щука! А вы говорите...

Сергея и Гриша ничего не говорили. Они слушали молча и готовы были поверить Апрелью, поскольку не раз слышали о похищении щукой не только диких, но и домашних уток, а те покрупнее будут.

Следующим был рассказ о долголетию щук, о том еще, какие редкие ценности находят рыбаки в щучьих утробах. Для пущей убедительности Апрель вынул карманные часы и сообщил ребятам, что лет этак тридцать назад обнаружил их в щуке вместе с длинной серебряной цепочкой. «Покрутил туды-суды барабанчик, и они, часы то есть, пошли как ни в чем не бывало!» Под конец Сергей и Гриша выслушали печальную и суровую повесть о том, как долго и жестоко мстила ему, Апрелью, волчья стая за то, что он поймал капканом их вожака. Пять лет кряду подвергали они своим разбойным набегам Апрельево подворье, задирая то овцу, то козу, то телянку, то – за неимением ничего другого – собаку. И неизвестно, как долго продолжались бы еще эти напасти, если б Апрель не догадался перебраться жить на другой конец села. Поскольку из любых историй – горьких или веселых – разумный человек должен делать полезные для себя выводы, то сделал их и Апрель. Во всяком случае, с той поры окончательно расстался с охотничьей страстишкой, заменив ее другою, менее опасной – рыбачьей.

– Щука хоть и зубаста, а ног у нее нету: не забежит в хлев и не утащит овцу, – сказал в заключение Апрель, видя, что ребята уже затосковали, заглядывают на его часы уже не для того, чтобы полюбоваться ими, а для того, чтобы узнать время. Неожиданно он признался, и, кажется, совершенно искренне: – Да и жалко мне стало уток и зайчишек. Подстрелишь, подойдешь к нему, зайчонку, а он глядит на тебя сбоку так, еще живым своим большим черным глазом и не понимает, за что же ты его. Бывало, все внутри так и дрогнет, так и ворохнетя – убил бы сам себя за этакое злодейство! А рыба что ж, кровь у нее холодная, может, ей и не так уж больно – не кричит, когда тащишь из нее крючок, иной раз прямо с потрохами тащишь... Ну ладно, ребятки, заговорил я вас совсем. Спасибо за угощение, спасли мою дурную голову. Пойду! – сказал последние слова как-то с трудом, ему явно не хотелось расставаться с ребя-

тами. Если сказать честно, не ради выпивки – ради компании он и появился вчера на свадьбу. Повторил нехотя: – Пойду.

– Куда ж вы, дядя Артем?

– На колхозные огороды, Гриша. Взвалил председатель на мою шею эту мороку. А какой из меня огородник? Правду говорит твоя сестра Феня: на пугало только и сгожусь. А идти надо. Как-никак два трудодня за каждый аж день пишут...

И, не досказав, он ушел, высокий, нескладный и так же, как дядя Коля, непонятный для Сереги и Гриши. Они сидели еще какое-то время на прежнем месте, молчали. Гриша не мог избавиться от преследовавшего его видения: умирающий заяц и широко открытый в немом недоумении глупый его, безгрешный глаз.

Потом Гриша энергично тряхнул головой, решительно встал.

– Пойдем, Серега, турнем их.

– Это ты о ком? – не понял Серега.

– Пишку и Тишку.

– За что ты их так? – Серега глядел на товарища с крайним удивлением.

– Вставай, пойдем, – вместо ответа сказал Гриша.

Однако изба Угрюмовых к их приходу уже опросталась – свадьба перекинулась в чей-то другой дом.

Собрав со стола несъеденные пышки, вареные яйца, жареное баранье мясо, сало и хлеб, ребята ушли на станцию.

Глава 5

Вскоре после свадьбы совсем неожиданно пришла повестка: Филиппа Ивановича вызывали в райвоенкомат. Вместе со всеми он подивился повестке, но сделал это ненатурально.

– Переучет, пустяк какой-нибудь, – сказал он, встретив встревоженный взгляд жены.

Она видела, что муж говорит неправду, он знает, с какой целью его вызывают, скорее всего ждал этого вызова, и страшно обиделась: зачем же обманывает?

– Тебя опять в армию берут? – спросила Феня, глядя прямо ему в лицо и не давая его глазам увернуться от ее пристального и требующего только правды взгляда.

– Что ты, Феня, с чего бы это? Ведь я только что отслужил срочную.

– Но ведь ты говорил мне, что теперь командир запаса...

– Ну и что с того? Запаса – поняла? Это на случай войны. А сейчас, в мирное время, кому я нужен?

Феня не поверила, и Филипп Иванович видел, что ему не верят, хотел и не мог сказать правду. Он, разумеется, знал, что вызывают по его же собственному заявлению, размноженному им в четырех экземплярах и отосланному сразу в четыре адреса: в обком, в облвоенкомат, в райком и в райвоенкомат. В заявлении содержалась одна просьба: послать его, танкиста, командира запаса и члена партии, в Испанию – сражаться на стороне республиканцев. Ответа все не было, и Филипп Иванович утратил надежду получить его когда-либо. Потому он тогда со спокойной совестью посватался к Фене. А теперь думал, что не должен был этого делать: выходит, что обманул девушку... Он понимал: вызывали его теперь не для того, чтобы объявить об отказе, такое сообщается обычно в письменной форме.

Было совершенно ясно, что в жизни Филиппа Ивановича должно совершиться нечто необычайное. Он это особенно почувствовал после звонка, раздавшегося в сельсовете сейчас же вслед за повесткой. Звонил Федор Федорович Знобин, первый секретарь райкома. Суховатый, обычно немного надтреснутый голос его сейчас был неожиданно звонок и загадочно-торжествен. Секретарь райкома просил Филиппа Ивановича зайти к нему. «Валентин Власович у меня», – добавил он. Валентин Власович – райвоенком. Все, стало быть. Решено, значит. И все-таки Фене он сказал:

– К вечеру буду. Не беспокойся.

Он вернулся даже раньше, через каких-нибудь три с половиной часа, но только затем, чтобы поскорее собраться в дорогу. Глаза Фенины были хоть и скорбны, но сухи. Она молча укладывала что-то в его чемодан, тот самый, с которым пришел он из армии и затем объявился в Завидове, чемодан, так и оставшийся только его и не сделавшийся их совместным – в нем еще не успело побывать ничего из Фениных вещей. На душе у Фени был холод, и она не понимала, отчего это так. И лишь когда укладывала гимнастерку, сердце дрогнуло. Обнимая ее на прощание, он сказал как бы шутя и все-таки больше с обидой:

– Ты бы хоть всплакнула чуток, Феня... А? Эх ты, Ивушка моя неплакучая!

– Ишь чего захотел! – вспыхнула Феня. – Не заслужил, чтобы о тебе слезы лить. Езжай уж! – Последние слова она произнесла глухо, с ледяной дрожью в голосе.

– Зачем ты так, Феня? Разве я...

– Езжай, езжай! – повторила она еще злее, чуть ли не подталкивая его к двери. Не вышла на улицу, чтобы помахать рукой на прощанье, не подошла к окну, чтобы проводить глазами сельсоветскую тележку, увозившую мужа бог знает в какие края. Матери, вернувшейся со двора и что-то недоброе проворчавшей в адрес зятя, с безумной яростью объявила (глаза ее при этом побелели):

– Негожий уже стал? Быстро ты, мама милая, разлюбила своего зятюшку! Эх, ты! Можя, он голову свою сложит, а вы... – Феня чувствовала, что после этих последних ее слов, вырвав-

шихся непростено, она уже не сможет остановить своего гнева. – От тебя, а не от меня убежал Филипп Иванович! Ты уж куском начала нас попрекать...

Феня на минуту остановилась, ужаснувшись тому, что она говорила: кто, где, когда попрекал их с Филиппом Ивановичем куском хлеба? Боже мой, что она делает! Вид насмерть перепуганной, несчастной и ничего решительно не понимающей, оглушенной несправедливо жестокими словами матери остановил ее.

– Мам... золотая... родненькая... прости! Убейте меня!.. Мам!

– Что ты, что ты говоришь, опомнись!

Аграфена Ивановна легонько высвободилась из объятий дочери, перекрестила ей лоб, потом встала на колени против образов и принялась молиться, громко упрашивая Пресвятую Богородицу вразумить дочь, направить ее на путь истинный, ниспослать на нее великое терпение. Закончив моление, подошла к дочери, которая уже лежала на своей кровати, спрятав голову под высокие, не утратившие свадебной свежести подушки. Плечи и спина Фенины вздрагивали. Аграфена Ивановна положила на нее руки и чуть было не отдернула их: тело дочери пылало огнем.

Откуда-то подвернулся Павлик, мать послала его за Фениной подругой – Машей Соловьевой. Когда та пришла, Аграфена Ивановна одними глазами попросила ее посидеть с Феней, успокоить ее.

Вышли они из горницы под вечер, Феня и Маша.

– Пойдем, Маша, в сад к нам, за речку. Посидим там.

– Попоем наши песни. Вот и полегчает. Правда, Фень?

– Пойдем, пойдем.

Они и правду много пели в тот горький для Фени вечер. К их настроению больше подходили старинные песни и про бедное девичье сердце, горем разбитое, и про бравого, лихого охотника, подстерегшего в полях не дичину, а «распрекрасну дивчину», и про вербу рясну, и про рябину-сиротину, которой выпала судьба век одной гнуться и качаться, потому как не может она прижаться к одинокому дубу, что стоит через дорогу. Врачующая сила песен такова, что вскоре певуньи уже смеялись и даже перешли на частушки.

Неподалеку от сада Угрюмовых, за рекою были луга. Сейчас там докашивалось колхозное сено. Косари один за другим возвращались в село. Некоторые несли мешки, туго набитые свежей травой, – для своих коров. Косы были перекинута через плечо. По мокрым ложбинкам изогнутых лезвий скатывались лепестки луговых цветов, всякая зеленая мелочь.

Позднее всех пошли в село Пишка и Тишка. Причиной тому было не их повышенное усердие по части колхозных дел. Просто Пишка задержался, чтобы «сшибить» для своего двора клинышек, примыкавший прямо к лесу и специально оставленный Пишкой во время общей косьбы. Ну а Тишка остался с ним так, по привычке, потому что давно сделался вроде Пишкиного верного слуги. Недальняя песня заставила их притормозить шаг, прислушаться. Определив ухом место, где могли находиться девчата, друзья решительно направились к ним. Вскоре песня смолкла. Мужики застали Феню и Машу купающимися. Завидя Пишку и Тишку, те завизжали, поплыли подальше от берега. Собрав их платья, Пишка поманил:

– А ну-ка, бабенки, ко мне!

– Ищо чего! Какие мы тебе бабенки?!

– Ну ты, Машуха, можа, еще девка, а Фенька...

– Ты вот что, кобель паршивый, прочь отцель! – закричала Феня. – Вот сейчас тятя придет, он тебе покажет бабенку, бесстыжая твоя рожа! Положь платья! Слышь?!

Пишка отнес платья на прежнее место, а Тишке приказал:

– Будь свидетелем, Тиша. Обозвала меня кобелем, да еще паршивым. Это оскорбление личности. Она у меня ответит за это.

– Отвечу, только уматывайся, ради бога! – Феню разбирал смех.

– Уйдем без твоих указаний. Постыдилась бы тятку-то на помощь звать. Сама уж, чай, вскорости будешь маманей.

– Буду и бабушкой. А тебе-то какое дело?

– Пойдем, Епифан, от греха подальше, – тихо предложил трусоватый Тишка и первым направился к дороге. Пишка, матерясь потихоньку, побрел за ним. Успокоившись и уж сам похохатывая над собой, сказал:

– А ты болтал, что я мастер на уговоры. Видел теперь, какой из меня мастер? К этой не просто будет подмаслиться. Поддаст копытой, дорогу к дому не отыщешь.

– Известное дело – Угрюмовы, – посочувствовал Тишка и предложил: – Давай, Епифан, и мы споем.

После некоторого колебания Пишка согласился:

– Давай.

Певческие возможности приятелей, как известно, были крайне ограничены. Сказать, что у обоих решительно не обнаруживалось никакого музыкального слуха, это еще ничего не сказать. Катастрофически мал был запас самих песен. В сущности, кроме «Хаз-Булата» да «Располным-полна коробочка», у них было еще по одной лишь песне, из которых каждый помнил по два-три слова – не более. Тем не менее Тишка запел:

Ах, пуля-злодейка
Грудь пронзила мою удалу.

Пишка не знал ни мотива этой Тишкиной песни, ни этих ее слов, а потому и запел свою собственную:

Из-под тоненькой белой сорочки
Высоко подымалась грудь...

Феня, держа заколки в зубах и одергивая на литом, мокрому теле липнущее платье, зло сказала:

– Будь дома Филипп Иваныч, небось сторонкой обошли бы нас, кобели несчастные!

– Это уж так, подруженька моя дорогая, – как бы сокрушаясь вместе с Феней, сказала Маша. – Теперя ты держись, будут приставать. Ты ить распечатана...

– Дура! – оборвала ее Феня.

– Не сердчай, я ить правду говорю. Держись, Фенька! Мужики любят молодых одиноких бабенок. Лучше уж не выглядывай по ночам.

– Ну, хватит об том. Чего заладила?

Феня смягчилась вдруг, обняла подругу и почему-то крепко поцеловала. Сказала, расчувствовавшись:

– Одна ты у меня осталась, Машуха!

На противоположном берегу, против сада, появился Павлик, резко взмахнул пастушьим кнутом, извлек из него оглушительно звонкий, трескучий хлопок. Берега реки и лес многоглого ответили ему, точно передразнивая, таким же звонким и трескучим эхом. Павлику это понравилось, и он взмахнул еще раз. Но кнут не издал хлопка, змеєю обвился вокруг худенького тела пастушонка, концом хвоста, сплетенным из конских волосинок, обжег щеку, оставив на ней косою лилово-красный след. Павлик даже не хмыкнул, только, будто разозлясь на кого-то, изо всех сил заорал:

– Феня-а-а! Тятка домой зовет!

– На кой? – по-мальчишески отозвалась Феня.

– Тетка Авдотья приехала. Сейчас у нас! И Авдей тоже! Ну, ты скорей!

Павлик опять хлопнул кнутом и ушел. А Феня не могла стронуться с места. Маша удивилась:

– Что с тобой, Фенька? На тебе лица нет!

– Вот еще выдумаешь! Пошли! – Уже в селе Феня попросила: – Пойдем и ты к нам, Маша.

– Неудобно. У вас гости.

– Подумаешь, гости! Сродственники. Ай не знаешь Авдотью и Авдея? Пошли, пошли!

Поцеловав Феню, обмочив ее щеки слезами, которые для таких случаев были у нее всегда наготове, Авдотья сейчас же обрушилась с притворными упреками:

– Хороша, хороша, нечего сказать! Выскочила замуж и на свадьбу не пригласила. Забыла, поди, как я тебе сопли утирала да леденцами потчевала? Ай-ай-ай, Фенюха! Как же это ты, а?

Феня, быстро покрываясь краской, глядела краем глаза через плечо старой ворчуньи на улыбающегося и тоже малость смутившегося Авдея, ждала, когда Авдотья выговорится, отведет душу, скажет все то, что полагалось в подобных моментах, чтобы потом самой тоже сказать обязательные и ничего не значащие слова. Она вымолвила их торопливо, чтобы уж поскорее избавиться от необходимости говорить:

– Так ты уж и приехала бы на мою свадьбу! Велика нужда!

– А вот и приехали б! У сына отпуск, а мне все одно: домой пора.

На приглашение отца к столу Феня ответила, что ей надо переодеться, сбросить с себя это тряпье (она так и сказала «тряпье»), и коротко глянула при этом на улыбающегося Авдея, еще не составившего в уме того, что он должен сказать молодой этой женщине, которая вчера еще была девчонкой. Феня потянула Машу Соловьеву, до того не знавшую, куда себя деть, в горницу. Там они были долго, до той поры, пока терпение ожидающих гостей не истощилось и пока заметивший это Леонтий Сидорович не покликнул дочь. Феня вышла наконец. И мать, и отец, и даже Павлик увидели вдруг, что их Феня никогда еще не была так хороша, как в эту минуту. Даже подвенечное платье ей так не шло, как эта простенькая белая кофточка с красной юбкой, по которой вроде бы небрежно были разбросаны крупные черные кружочки, с легко повязанным вокруг шеи кисейным, тоже красным, платком. И все это оживляло Фенино лицо и, в свою очередь, оживлялось ее глазами – большими, темно-синими, широко поставленными друг от друга, в которых что-то мерцало и переливалось, а временами вспыхивали напряженно-тревожные огоньки.

– А уж это не Машенька ли Соловьева будет? – спросил Авдей явно для того, чтобы скрыть собственное смущение и восторг перед неожиданной красотой старшей дочери Угрюмовых; он покраснел так, что даже маковка на его голове подрумянилась, и светлые, курчавые волосы не могли скрыть этого.

– Я и есть! – сказала Маша и смело угнездилась по правую его руку, еле сдерживая рвущуюся изнутри радость. Фене это не понравилось, и, стараясь еще в зародыше придавить подымающуюся неприязнь к подруге, она мысленно отчитала себя: «А тебе-то не все ли равно? Замужняя ведь! Пускай Маша сядет, она вон даже пригожей стала, может, приглянется Авдею».

Авдей между тем начал неназойливо ухаживать за Машей, удивив и ее, и всех Угрюмовых манерой, чуждой завидовцам: попросил у Аграфены Ивановны еще одну тарелку, поставил ее против Маши и ее же вилкой стал накладывать разную еду.

– Это что ж, в городе научился? – спросила Феня и сама удивилась холодку, который был в ее голосе и который наверняка услышали все сидящие за столом.

– В городе, – сказал Авдей и спокойно посмотрел на Феню. – А разве это плохо?

– Мы не знаем, плохо или хорошо. Мы по-нашему, по-завидовски: из общей тарелки. А ты, знать, совсем городским стал. И говоришь не по-нашему, акаешь вон, карова говоришь, а для нас она – корова...

– Ну, вы вот что... Не про то вы затеяли, – перебил Феню отец. – Давайте-ка лучше выпьем за наших дорогих гостей!

Выпили. Маша зажала концом платка рот, замахала рукою: «Фу!» Феня, не спуская с Авдея глаз, выпила целый стакан и сказала с почти мужицкой лихостью:

– Вот как надо пить за дорогих-то гостей!

– Ты что это, девка? Никак с ума сошла! – встревожилась Аграфена Ивановна, а на мужа глянула с укором: – И ты тоже. Рази можно бабенке наливать столько?! Она глупая.

– Тять, налей еще! – попросила Феня. – День-то какой ноне: одних провожаем, других встречаем. Почему бы не напиться? Наливай, тять!

Однако Аграфена Ивановна взбунтовалась: отобрала у мужа недопитую посудину, унесла в горницу и спрятала в своем сундуке, а Фене да и гостям показала ключ: вот, мол, вам чего вместо самогону! Все посмеялись и начали выходить из-за стола: какое же продолжение без выпивки? За столом остались лишь хозяйка да Авдотья – они собирались почаяевичать, на то у них уйдет остаток дня. Феня нырнула к себе за занавеску, не раздеваясь, рухнула в постель.

Маша попросила Авдея проводить ее до дому.

Вернувшись, он зашел к Фене, потрепал ее за плечи:

– Неужели спать улеглась?

– А тебе чего?

– Вставай. В лес прогуляемся.

– Ишь какой ты проворный! В лес... Вон Машу пригласи, поди, рада-радехонька будет.

А меня оставьте в покое.

– Чего злишься? – спросил он ее прямо.

– С чего ты взял?

– Не вижу, что ли?

– Видишь, так и ладно. Что пристал? Я не девчонка, да и ты не марьяжный. Уходи, Авдей! Слышь? Сейчас же уходи!

– Ты его любишь, Феня?

– А тебе не все равно?

– Было бы все равно, не спрашивал бы.

– Люблю, коли вышла за него. Ты уходи. Дай мне одной побыть.

Авдей ушел, но тотчас же появился Апрель, возникший перед Феней точно привидение. Она молча, испуганно глядела на него. Апрель успокоил:

– Не бойсь. По делу я. Завтра сбор огурцов. Зови своих подруг и на зорьке – за реку, к желобам. Не опаздывайте только. Мне и так за вас от председателя влетело. Так что попрворней, Фенюха. А Машку, пожалуй, не бери, от нее одна вредность, болтает целый день.

– Ладно, дядя Артем, иди.

Утром Феня собралась до свету. Ей и самой хотелось уйти куда-нибудь из села на весь день, потому наряд огородного бригадира пришелся как нельзя кстати. За какие-то полчаса обегала все дворы, разбудила девчат – в том числе и Машу Соловьеву – и, не дожидаясь их, одна пошла за реку. Решила идти лесной дорогой, давно не хоженной и заросшей высоченным разнотравьем. На обнаженные Фенины икры крупными холодными каплями брызгала роса. Подол юбки скоро вымок и обвился вокруг ног, затрудняя шаг. Но Фене было хорошо от этой прохлады, остужающей молодое, разгоряченное тело. Дышалось легко, в груди было просторно, свежо. Часто путь ей преграждали низко склонившиеся ветви пакленника, вяза, молодого клена, а возле высохших болот – ивы. Феня низко наклонялась, ныряла под ветки, но то головою, то спиной задевала тяжелые от росы листья, и с них текло за ворот кофты, ледяные капли стремительно катились по спине, по желобку между лопаток.

Вчера, перед тем как заснуть, и нынче утром она не думала о Филиппе Ивановиче, не думала и сейчас и вспомнила почему-то лишь тогда, когда споткнулась о бугроватый корень дуба, окаменевшим удавом растянувшийся поперек дороги, и сильно ушибла босую ногу. Пока растирала палец, поплеывая на него точно так, как делала в детстве, пока физическая боль

постепенно угасала, в сердце подымалась другая боль. Откуда это? И Феня опять вспомнила про мужа и тут же решила, что провинилась перед ним тяжело, непоправимо. И она инстинктивно торопливо начала отыскивать теперь его вину перед нею, которая конечно же оказалась большей. Ведь он ее обманул. Сватаясь, утаил, что его могут послать в долговую, как он сказал потом, командировку. Что означает – командировка? Она пыталась узнать от него, но он отделался шуткой, поцеловал, как ребенка, и опять назвал Ивушкой неплакучей. Какая она Ивушка? Ноги толстые и кривые, бедра как у битюга немецкой породы (завелся на колхозной конюшне такой, добыл где-то председатель этакую уродину). Ничего себе Ивушка!

Феня вдруг остановилась, оглядела себя всю, положила руки на бедра так, что большие и средние пальцы рук почти сомкнулись за спиной и на животе, потом провела ладонью по груди, удовлетворенно подумала: «Что это я срамоchu себя? Какой же я битюг? В поясе прямо-таки оса, а ноги не кривые и вовсе не толстые... И все-таки не хочу, чтобы он меня так звал: Ивушка. Услышат девчата – вот и готовенькое прозвище, завидовцы мастера на них... Ну а в чем же я-то виноватая? Ах, да, не проводила его по-людски. Надо бы выйти на улицу, а можа, поехать с ним в район... А я... Нет, не о том я...» Феня чувствовала, что не в этом ее главная вина. Она присела на старый, подгнивший пенек, порушила малость голой пяткой притулившийся у потрескавшейся трухлявой коры муравейник, но, задумавшись, не заметила этого. Множество малюсеньких красноватых существ, подняв тревогу, замельтешило у ее ног, забегало, засуетилось.

– Ишь ты – «в лес прогуляемся», – горько усмехнулась она. И вдруг от этой горькой усмешки ей стало легко и свободно. Она быстро поднялась с пенка, вздохнула всей грудью, даже засмеялась тихо. Дальше не шла, а бежала, купаясь в росе, не разбираясь, прямо окуналась в листья торжествующе-сияющим, улыбающимся лицом.

У речки по имени Баланда Феня, не задумываясь, сбросила с себя всю одежду, скомкала в один узел, подняла высоко в одной руке и, отталкиваясь ногами и другой, свободной, рукой, легко переплыла на спине на противоположный берег. Убежденная, что сейчас она одна во всем белом свете, не торопилась одеваться. Еще раз – только уж более придирчиво, чем в лесу, – оглядела себя, тщательно обтерла мокрое, мгновенно покрывшееся пупырышками тело, попрыгала на месте, будто играя в скакалки, и только потом потянулась к платью. Сорвавшийся из-под ее ноги ком земли покатился вниз, зашумел в талах и звонко булькнулся в воду. Из-за талов тотчас же последовал сердитый окрик:

– Ты што это, шалава, принялась рыбу-то у меня пугать?

– Ой! – Феня схватила сразу всю свою одежду и прикрыла нагое тело. – Дядя Артем, и не стыдно тебе подглядывать?

– Мне-то что стыдиться? Я вас в разных видах за свой век нагляделся. Да и не глядел я на тебя. Нужно мне! Тут вот за поплавками хоть узреть. Одевайся, чего торчишь нагишкой-то?

– Дядя Артем, миленький, не смотри сюда. Я сейчас.

– Сказано: не гляжу.

Апрель взмахнул удилищем и демонстративно завозился в талах, повернулся к Фене спиной. Одевшись, она подкралась к нему сзади, крепко обхватила длинную, тощую его шею, запрокинула голову так, что седая, редкая бородавка уперлась в небо, и звонко чмокнула прямо в губы.

– Тю... с ума сошла, девка! Поди прочь! От меня табачищем воняет, да луку налопался с утра. Иди, сейчас девчата заявятся. Я чуток позорюю, можа, на щербу вам надергаю окуньков.

Девчата пришли, когда Феня натаскала уже целый ворох огурцов. С шести или семи лет усвоившая извечную формулу работающих людей насчет того, что глаза страшат, а руки делают, она не испугалась диких зарослей, в которых надо было отыскивать урожай, неожиданно оказавшийся обильным, а погрузилась в знакомое состояние труда, всякий раз распалюющее молодые, сильные ее мускулы, наполняющее их нетерпеливым зудом. Перед тем как сорвать огурец,

она скажет ему что-то ласковое, как говорят ребенку: «Ах ты, мой зелененький, ах ты, мой рябенький, заждался, поди?!», или: «Ох уж эта мне цыганка, лебеда проклятущая, задушила тебя совсем, моего сладкого пупырышка, пуплепка моего милого!..» Феня наклонялась и что-то говорила каждому, а руки ловко и проворно шарили в траве, под огуречными шершавыми лопушками, отправляя в подоткнутый подол юбки один огурец за другим. Этот разговор был нужен ей и для того, чтобы тело не чувствовало усталости, а мысли уходили от опасного, и для того, чтобы время бежало незаметно, и для того, чтобы самой было повеселее, не одиноко.

Маша Соловьева, позавтракав из своего узелка, сейчас же пристроилась к Фене и стала таскать огурцы в ее кучу. Феня видела эту хитрость (одна-то Соловьева ни за что не выполнила бы нормы), но молчала: пускай, лишь бы работала! Время от времени Феня не выдерживала, разгибала поламывающую немного спину, говорила подруге не столько с упреком, сколько с горьким сожалением:

– Ну что мне с тобой делать, Маша? Аль не видишь – топчешь ведь живые плети прямо с цветом? Они ведь еще родить должны!

– Подумаешь! – сердилась Маша. – Аль свои? Их вон какая пропасть тут?

– Дурочка. А чьи ж, по-твоему?

– Колхозные.

– Дрянь ты, Машка, – тихо и устало говорила Феня и уходила, чтобы оказаться подальше от подруги.

От речки вышагивал Апрель, да не один. С ним был Авдей. Вот еще принесла нелегкая. Чего он тут не видал?

Феня посмотрела на девчат, убедилась, что, кроме нее, на приближающихся никто не обратил внимания, упала на четвереньки и далеко уползла в сторону. Отыскала канаву, по которой шла вода во время полива и которая сейчас была суха, и залегла в ней. Лебеда тут была еще выше, так что если б Феня и поднялась, встала во весь рост, то и тогда ее не было бы видно. Через некоторое время слышались голоса:

– Феня-а-а-а!

– Фенька!

– Ты где это запропастилась, Фенюха?

– Фень-ка-а-а!

Феня не отзывалась.

Глава 6

От Филиппа Ивановича пришло письмо, давно ожидаемое и все-таки неожиданное, как первый выпавший ночью снег. Привез его на своем захлюстанном «козлике» ранним-преранным утром сам секретарь райкома партии.

Его суховатый, надтреснутый голос Феня услышала поначалу как сквозь сон, потом уж подключилось и сознание; у Фени отчего-то часто, торопливо застучало сердце, она соскользнула с постели, на цыпочках приблизилась к двери, затаилась, слушая.

Федор Федорович Знобин разговаривал с ее отцом. И говорил он совсем не о том, о чем хотелось бы Фене. Секретарь спрашивал о колхозных делах, о новом – шестом уже по счету – председателе, тоже не прижившемся, о заготовке кормов, об очередном наборе ребят и девчат на курсы трактористов; спросил и о Грише, который, оказывается, учился вместе с сыном Федора Федоровича в педагогическом техникуме, и только под конец Феня услышала то, чего ждала с отчаянно бьющимся сердцем:

– Старшая-то дома у вас?

– Дома, где ж ей быть, – сказал Леонтий Сидорович. – Феня!

Феня бегом вернулась в постель, закрылась одеялом с головой. Слышала, как скрипнула открытая отцом дверь.

– А ты, может, выйдешь к нам? – донесся из другой комнаты голос Федора Федоровича. – Уж больно долго спать изволите, красавица. А еще говорят про тебя, что ударница. Вставай-ка, поговорить надо.

Сердце ее заколотилось еще сильнее, хотя по голосу секретаря нельзя было определить, с какой – худой, доброй ли – вестью объявился он в доме Угрюмовых в столь ранний час. И потому, выйдя из горницы и уставившись на него тревожными глазами, она пыталась по его виду понять, с чем пожаловал к ним самый главный районный начальник. Федор Федорович был непроницаем, как осенний туман, из которого он десятью минутами раньше вынырнул на своем забрызганном грязью автомобиле, и по сию минуту почему-то не прекратившем глухого, сердитого ворчания где-то там, за окном.

– Подруги небось давно на работе, а ты...

– Подруги спят еще без задних ног, Федор Федорович! Это вас, знать, великая нужда подняла ни свет ни заря.

– Нужда, это верно. Приятная нужда. Письмо тебе привез, красавица. От мужа. Ну, ну, вот это уж ни к чему! Зачем бледнеть! На, держи!

Он еще не успел вынуть совсем руку из кармана, как Феня выхватила конверт, мгновенно пропала за дверь. Вскоре появилась вновь, уже одетая в ватник, на ходу поблагодарила секретаря, но Федор Федорович остановил ее:

– Вот те раз! Кто ж так благодарит? А ну-ка, милая, вернись, да поцелуй старика, да сбегай в погреб за огурчиком – приозябли мы с моим Андрюхой в дороге.

Феня вернулась, неловко обняла Федора Федоровича, поцеловала в обе щеки и, схватив с судной лавки большое блюдо, метнулась к двери.

– Андрея, шофера моего, позови в дом. Закоченел, поди! – крикнул ей вдогонку секретарь, а Леонтия Сидоровича спросил внезапно: – Что-то ты совсем забыл меня, отец? А в пятнадцатом, под Перемышлем, в одной роте служили, да и в семнадцатом распрощались с окопами по доброй воле в один день, а точнее – в одну ночь. Забыл?

– Нет, не забыл, Федор Федорович.

– Однополчане мы. А ты хотя бы раз зашел ко мне, есть ведь что вспомнить. И в Туркестане были в одной дивизии. Правда, не видались, не довелось. А все же... Нельзя боевых друзей забывать, Леонтий!

– Шишка вы теперь большая, Федор Федорович, – сказал грубовато Леонтий Сидорович и, боясь, что гость его обидится, поспешил добавить: – Вы уж извините меня – мужик он и есть мужик. Слов других, которые поприятственнее были бы, у него нету. У мужика.

– Шишка, говоришь? Верно – шишка. Только мне б не хотелось, чтоб о нее мои товарищи спотыкались.

– Что-то я вас не очень понимаю, Федор Федорович.

– Не понимаешь – и ладно. Туманно, знать, говорю. А вообще-то у меня есть к тебе дело, Леонтий. Не прогулялся бы ты со мною завтра в райком? Сегодняшний денек я у вас потолкаюсь, в Завидове, а завтра, на зорьке, и махнули бы, а?

– Зачем это я вам спонадобился? – встревожился Леонтий Сидорович.

– А там узнаешь.

– Секрет, стало быть.

– Что ж, бывают и секреты. Только бояться нам с тобой нечего. Едем, значит?

– Коли прикажете.

– Не приказываю, а прошу.

– Знаю я ваши просьбы, – ухмыльнулся Леонтий Сидорович.

– Ну а знаешь, так и лады! – тоже улыбнулся Федор Федорович и, завидя в дверях Феню с полным блюдом соленых помидоров и огурцов, от которых подымался холодный, аппетитный парок, оживился еще более: – Ах, умница! Ба, да там еще и арбуз выглядывает, ну, это уж совсем убила, прямо наповал! Андрюха, а ты чего топчешься у порога? Раздевайся, мы приехали в гости к моему другу, понял?

Шофер сбросил фуфайку на сундук и, привечаемый сразу всеми – хозяином, хозяйкой, их дочерью, – подсел к столу с тою привычною непринужденностью и простотой, какая выработалась у шоферов, проведших долгую бродяжью жизнь при районном начальстве. Такой шофер никогда не знает, сколько им еще придется мотаться по селам, где и кто догадается покормить их, поэтому первую же такую возможность он старается использовать наилучшим образом.

За столом вспомнили про Фенино замужество, про свадьбу. Федор Федорович вновь посетовал, что не был приглашен на нее; говорили про Филиппа Ивановича, не затрагивая при этом главного, того, где же все-таки он находится сейчас, что же это за командировка у него такая, что никто о ней ничего не должен знать. Добрались в разговоре и до шофера Андрея Васильевича, которому было уже за тридцать. Аграфена Ивановна (Феня куда-то успела все-таки сбежать), потчuya гостей, спросила у Андрея про его семью и страшно удивилась, когда тот сказал, что не женат.

– Что же это ты, милоч? Неужто невесты не нашлось?

– Невест хватило бы и на мою долю, хозяйюшка, да вот времени нету, чтобы жениться. Всю жизнь первых секретарей вожу!

Леонтий Сидорович хмыкнул сдержанно. Секретарь же надулся как-то весь, щеки вспухли и вдруг выхлопнули оглушительный звук, за которым последовал долгий, захлебывающийся, перемежаемый кашлем смех.

– Ах негодяй! Все на меня свалил! – отдышавшись, но все еще сотрясаемый новыми приступами смеха, заговорил Федор Федорович. – Ну, это я тебе припомню, разбойник ты этакий. Я, значит, помешал тебе жениться? погоди же! Завтра окрочу с нашей секретаршей. Надёнка давно заглядывается на тебя!

– Так уж и заглядывается?

– Заглядывается. Будто ты и не знаешь...

Вернулась Феня, и Андрея оставили в покое. А она встала возле печки, рядом с матерью, и оттуда уж спросила несмело:

– Федор Федорович, а посылочку можно ему собрать?

– Думаю, Феня, этого не надо делать. Вот письмо строчи сейчас же. Я сам отправлю – поскорее дойдет. Только поласковой сочинишь, клянись любить до гробовой доски и быть верной женой. Нашему брату это нравится. Поняла? Ну, валяй. Бумага-то есть? Хорошо. Иди пиши. А нам с твоим отцом пора в правление. В сельском Совете кто теперь, что-то запамятовал? – спросил он у Леонтия Сидоровича, когда Феня скрылась за дверь. – Шпич? Санька?! – удивился Федор Федорович. – Неужели он? Батюшки мои, как время-то бежит! Давно ли вручал я ему премию за охрану урожая? Ну и ну! Пионером и потом комсомольцем он был шустрым. Впрочем, он и сейчас еще в комсомоле. Непременно загляну к этому шкету. Подумать только: Санька Шпич – советская власть на селе! – Федор Федорович долго еще ахал и охал, удивлялся Санькиному стремительному восхождению, а глаза недисциплинированно косились на шесток, где на высоком тагане жаривалась яичница с картошкой – любимая его еда. Слышал за спиной соблазнительное шипение и всхлипывание сковороды и шофер, сидел спокойно, глаз не косил, по и покидать своего места не собирался.

Феня появилась с ответным письмом, когда сковорода уже опросталась – Федор Федорович проворно очищал ее дно ломтиком ржаного хлеба, а шофер благодарил хозяйку за угощение и собирался на улицу, где, освоившись с обстановкой, Павлик изо всех сил жал на кнопку автомобильного гудка.

Завершив свое дело, секретарь райкома поднялся, тоже поблагодарил хозяек, взял из рук Фени конверт, пощупал:

– Не годится. Тощевато.

– Да я торопилась. Вам, поди, неколи ждать-то.

– Подожду. На, дописывай. Ночевать все равно к вам приеду. Пиши. Ну, пойдем, Леонтий. Будешь у меня за провожатого.

– А председатель сельсовета?

– И председатель. Оба пойдете. Сам же обо мне сказал – шишка.

И Федор Федорович вышел во двор. Аграфена Ивановна видела через щелястую сенную дверь, как он заглянул в хлев, потом потрогал плетень – прочно ли стоит, долго осматривал новый хлев и только уж потом пошел к машине. Усадив рядом с собой Леонтия Сидоровича, попросил:

– Заглянем к Николаю Ермиловичу.

– К дяде Коле? – удивился Леонтий Сидорович.

– Это для ребятишек он дядя Коля, а для нас с тобой Николай Ермилович Крутойаров, в прошлом – боевой моряк, секретарь первой в вашем селе партячейки.

– Да, но...

– Никаких «но»! Обидели его ни за что ни про что. А старику цены нет. Говорят, и пить перестал. Его бы к делу какому пристроить... Пока что пенсию персональную ему выхлопотали. Пойдем сообщим о том, порадуем старого моряка. Вспомни меня: еще много хорошего увидят от него люди.

На шум мотора во двор выбежала Орина, жена дяди Коли, встревоженно выглянула из полуоткрытой калитки, увидела Знобина с Угрюмовым и успокоилась. Позвала:

– Миколай, кажись, к тебе.

Дядя Коля вышел из избы, приблизился к машине:

– Никак это вы, Федор Федорыч? А я, грешный, подумал: опять ваши мудрецы «деньгodelьный» станок искать приехали.

– Они плохие искатели. Пришлось мне вот самому за тебя взяться. Приглашай в избу.

Глава 7

Новая, странная, непонятная жизнь, однажды ворохнувшаяся под сердцем, теперь давала о себе знать все чаще. Вот и сейчас Феня вздрогнула от глухого и вместе с тем острого толчка, впервые заговорила с ним, невидимым, но таким волнующе близким: «Что ты, миленький? Мамка ушибла, знать, тебя? Вот я ее за это!» «Мамкой» она назвала себя впервые и улыбнулась – это слово было привычным и простым до тех пор, пока не относилось к ней самой. И по какой-то необъяснимой связи мысль Фенина перекинулась не на Филиппа Ивановича, отца ее будущего ребенка, а на Авдея, которого давно уж не было в Завидове и которого она старательно избегала и даже не вышла из своей горенки, когда он хотел попрощаться с нею. Она сейчас же настойчиво заставила себя думать о муже.

«Где ты, мой хороший? Почему же ты так долго не отвечаешь на мое письмо? Можя, я дурное что сказала в нем, можя, обидное что? Ты уж прости меня...» Губы беззвучно шевелились, глаза тревожно светились в тумане, и вдруг Феня с ужасом поймала себя на том, что слова эти не вязались с тем, о чем она сейчас думала. Думала же она по-прежнему об Авдее, только о нем, и видела сейчас его, а Филиппа Ивановича никак не могла припомнить таким, какой он есть, и это было страшнее всего: Авдей стоял перед ней ясно, как живой, со всеми до единой черточками на его лице. И чтобы не думать о нем, Феня быстро достала из-под подушки письмо мужа и в который уже раз стала читать: *«Феня, Ивушка ты моя, как же я люблю тебя, если б только ты знала! До сих пор не могу простить себе, что не сказал тебе про то, как нужно, ни разу не приласкал, как хотелось, а все дулся, как глупый индюк. Отсюда, издалека, ты для меня еще милее, моя любимая, хорошая, родная моя жєнушка!»*

– Мам! – тихо позвала Феня.

Вошла мать.

– Ты что?

– Приляг со мной. Чтой-то мне зябко, мам...

Аграфена Ивановна удивилась:

– Ты что, ай маленькая?

– Ну, иди. Я так... – И, когда мать вышла, вспомнила: – Газету не принесли, мам?

– Како там! Он, нечистый его побери, в неделю один только раз приносит почту-то, – отозвалась Аграфена Ивановна из другой комнаты.

Тот, которого должен был бы прибрать к рукам «нечистый», почтальон Максим Паклёников, действительно не утруждал себя ежедневным разносом писем и газет: скапливал их за всю неделю и только потом оставлял, точно подкидыша нерадивая мать, у калиток или сенных дверей завидовцев. Прежде такое положение вещей не очень-то огорчало Феню, но теперь она по-настоящему разгневалась:

– Ну зачем держат такого! Самого ленивого мужика поставили почтальоном. Любая девчонка лучше бы его справилась. Живем, как бирюки, не знаем, что на белом свете творится.

Сказать по-честному, раньше не так уж сильно волновали Феню дела на белом свете, но с началом войны в Испании, и особенно после того, как Филипп Иванович отправился в свою загадочную командировку – а Феня, чай, не дурочка, не маленькая, чтобы не понять, какая это командировка, – она с нетерпением стала ждать почту. Писем не было, и она с жадностью набрасывалась на газеты. Теперь Феня и сама готова уж была поехать в Интернациональную бригаду, сражаться с фашистами. «А можя, и вправду написать заявление? Взяли же моего Филиппа. А я рази не человек? Там же много женщин воюет!» Как далеко зашла б она в мыслях своих, неизвестно, но сильный, напористый толчок повторился, заставил вспомнить о ее состоянии, и Феня тихо и горько улыбнулась: «Тоже мне вояка! Нет уж, миленькая, будь дома и готовь вон зыбку!»

Посидев еще в задумчивости, она вдруг быстро поднялась, начала торопливо одеваться. Долго охорашивалась у зеркала, даже щипнула там и сям бровь, не видя, как мать в полуоткрытую дверь беспокойно наблюдает за ней от печки, из другой комнаты.

В нардоме сильно удивились ее появлению: подруги давно не видели тут Фени.

– Ба, Фенька пришла! – невольно вырвалось у одной из них.

Фене показалось это обидным: как быстро ее «списали», вроде бы она уж тут лишняя. Не глядя на подруг, прямо, решительно направилась к гармонисту, мальчишке лет пятнадцати, который не успел еще освоиться с положением парня-гармониста, но которому ужасно по душе такое положение, и на просьбу Фени сыграть краковяк он развел мехи с ненатуральной небрежностью и не идущей его возрасту ленивой снисходительностью. Феня направилась теперь к Пишке – так же решительно и дерзко.

– Пошли, Епифан!

Давно женатый, Пишка, однако, любил вертеться возле молодых, являлся на все их гулянки.

Некоторое время на круге были лишь Феня да Пишка, они громко подтрунивали над собою и глазающими парнями.

– А ты на ноги-то не наступай, медведь косолапый! – проговорила вдруг Феня.

– Ничего тебе не сделается! – отвечивал Пишка. – Почаще приходи – научусь. Моя Дуняха, слава богу, не ревнивая.

– Я б на Дуняхином месте тоже не больно-то ревновала. Глянь-ка на себя. Ты ведь, Пишка, на всех чертей похожий.

– Так уж и на всех?

– На всех.

– А чего ж ты выбрала меня?

– Не сосунков же приглашать. Сам сказывал: баба я теперь.

В дверях появился Тишка, чем-то до крайности взволнованный.

– А Тишка – тоже сосунок? – спросил Пишка.

– Хуже сосунка. Разве он мужик – во всем тебя слушается. Опять наступил на ногу! Иди-ка ты, Пишенька, к своей Дуняхе, скучно с тобой! – с этими словами Феня и остановила своего напарника посреди зала.

Пишка, бесцеремонно растолкав танцующих, выбрался из круга, подошел к своему другу.

– Ну, чего руками машешь?

– Завтра нас с тобой, да и всех наших одногодков в военкомат вызывают. К чему бы это? – глотая слова, торопливо выговорил Тишка. – Нам ведь за тридцать.

– А, ничего особенного, – небрежно отозвался Пишка. – Поменяют военные билеты на новые, заглянут тебе в рот, как цыган лошади, еще куда-нибудь, послушают в трубку для порядку, потом шлепнут по голому заду – и катись, Аника-воин, домой. И все тут.

– А вдруг не все? В Испании, сам знаешь... Теперь еще Германия... Все поговаривают...

– Руки у фашистов до нас коротки.

– Может, и коротки, зато загребуши.

– Оттяпаем, коль сунутся. Да Германия на нас не нападет. Дурак ты, Тишка, и все потому, что газету не выписываешь.

– А я и читать-то разучился. Два неоконченных класса – вся моя академия. Да и что в тех газетах? Об одних ударниках да стахановцах талдычат. А Колымагинов сын, Петька, пишет отцу с матерью, что отпуска им, пограничникам, отменили. Это как понимать?

– Мало ли что, – сказал Пишка, хотя в голосе его не было прежней твердости.

...За остаток вечера Феня дома успела переделать множество дел и передумать такое же количество дум. И делала она свои дела и думала свои думы одновременно. Перво-наперво

взяла с материнских рук заснувшую младшую сестренку Катеньку и унесла ее в свою кровать. Уложила там, хорошенько накрыла одеялом и вздохнула: скоро уж не Катеньку будет укладывать рядом с собою, а свою доченьку. Феня была совершенно уверена, что у них с Филиппом Ивановичем непременно родится дочь, которую они назовут Валей, Валюшей, Валентиной, как ту пионерку, про которую написаны хорошие стихи. Филипп Иванович сразу же после их свадьбы признался, что очень хочет, чтобы у них первым ребенком была дочь.

Слушая тогда его слова, она еще ничего не знала об извечной хитрости всех отцов на свете, и в особенности молодых отцов: чтобы не огорчать жену в том случае, когда она родит дочь, он, отец, на этот самый случай загодя говорил ей, что непременно ждет дочь. Ну а если родится сын – о чем мечтают 99 отцов из 100, – так разве это плохо? Сын, наследник, хранитель отцовской фамилии! Феня не ведала про ту маленькую хитрость и думала о дочери. Убедившись, что Катенька крепко-крепко спит, она тихонько подняла большую зеленую, в железных переплетах крышку сундука и, выложив оттуда одну за другой все свои и Филиппа Ивановича вещи, с самого дна достала небольшой картонный коробок, который вплоть до нынешнего вечера боялась открыть – почему-то немного стыдно было. Теперь она извлекла из коробки распашонки, несколько льняных и теплых байковых пеленок, три пары штанишек и столько же пар крохотных, уморительно смешных носочков – глядя на них, не поверишь, что тут может поместиться человеческая нога. Все это приданое будущему ребенку раздобыл где-то в районном центре Филипп Иванович за два дня до отъезда в Тайную свою командировку. Вспомнив про то, Феня нахмурилась, подумала: как же она плохо поступила тогда, что не вышла проводить его, не сказала ласкового слова на прощанье. В памяти его теперь только и будут злые, холодные слова ее и такие же злые, холодные глаза. Показав себя за это, Феня вновь наклонилась над сундуком. Теперь она вытащила узелок, совсем маленький, но увесистый. Осторожно развязала – с глухим звяканьем на стол высыпались значки ворошиловского стрелка и те еще, из которых следует заключить, что их владелец на всякий случай подготовил себя и к санитарной обороне, и к химической. Феня собрала эти пестрые, заолодавшие на дне сундука штучки в пригоршню, прижала к груди и долго стояла так, задумавшись. Потом тихо улыбнулась и сложила значки в детский носок, а затем в прежнем порядке уложила все в сундук.

Вышла в заднюю комнату, вымыла пол, судную лавку, достала из-под большой деревянной кровати грязное белье отца и Павлика, бросила в корыто и принялась стирать. Вспомнила о нардоме, о Пишке и была рада, что ушла домой, и теперь знала, что никогда не пойдет туда – разве что в кино. Языки у людей злые, могут и ославить. А ей очень хотелось, чтобы Филиппу Ивановичу, когда он вернется, сказали, какая у него хорошая, верная жена, и еще хотелось, чтобы их дочь родилась похожей на Филиппа Ивановича, только бы вот ростом не в него, уж очень длинного, девчонке это ни к чему. Не знала тогда Феня, что против ее ожидания родится мальчик и назовет она его в честь отца Филиппом Филипповичем.

– Хватит уж тебе, Фенюха, – сказала Аграфена Ивановна, войдя в избу с охажкой дров. – Сама достираю. Побереги себя.

– Что ты, мама! – Феня, поправив волосы, ниспадающие на глаза, яростнее принялась разминать красными, не по-девичьи крупными руками Павликовы портки, улыбаясь неприметно на материны слова.

У Аграфены Ивановны была одна особенность, про которую знали и Леонтий Сидорович, и Феня, и Гриша, и даже Павлик. За все дела по дому Аграфена Ивановна прежде других бралась сама и, переделав их, никого не потревожив, не позвав на помощь, потом принималась сетовать либо на всех «дармоедов» сразу, либо – что бывало чаще – на каждого в отдельности. Во втором случае она обычно начинала с Леонтия Сидоровича, который до того распустил всех, что никто не хочет помочь матери, а у нее, бедной, «рученьки уж отваливаются», да и сам сидит, свесив ноги с печки, тянет, нечистый его возьми, день-деньской свою вонючую соску, в избе хоть топор вешай. С мужем, однако, приходилось быть осторожней, не заходить очень-то

уж далеко, а то можно было нарваться и на грозный угрюмовский окрик, от которого как бы все обрывалось внутри, замирало. И Аграфена Ивановна хорошо знала грань и не переступала ее, ежели, конечно, не увлекалась настолько, что забывала про все на свете.

После отца сразу же и надолго принималась за старшую дочь, но Феня, взявшая у отца несокрушимую его выдержку, спокойно говорила матери: «Давай, мама, я все сделаю. Давай постираю». – «Постираете вы! – пуще прежнего гневалась Аграфена Ивановна. – После вас все равно приходится перестирывать!» Но это была уж такая неправда, что Аграфена Ивановна сама вдруг растерянно умолкала и торопливо отыскивала притворно-сердитыми глазами кого-нибудь из младших детей. Если попадался Гриша, у него всегда наготове было оружие, которое он тотчас же и весьма успешно пускал в дело: начинал громко хохотать над мамкиными причудами, и той ничего не оставалось, как схватить утиральник и потянуть сына вдоль спины. До Павлика же добраться удавалось совсем редко: мальчишка успевал выскользнуть на улицу, а возвращался домой, когда мать успокаивалась, когда все в ней умиралось, когда она «искалась», лежа на широкой лавке где-нибудь поближе к свету, к окну, положив голову на Фенины колени.

«Искаться» Аграфена Ивановна страсть как любила – поскрипывание деревянного гребня в голове, шевеление проворных Фениных пальцев угомонно действовало на уставшую Аграфену Ивановну, поначалу «искальщицы» тихо переговаривались, потом мать незаметно умолкала, погружалась в легкий, покойный сон – и это был единственный отдых, которому она отдавалась с тихой и светлой радостью. Чтобы не разбудить мать, Павлик на цыпочках подходил к судной лавке, отрезал кусок черного хлеба, густо посыпал его солью и так же на цыпочках уходил во двор. Просыпалась Аграфена Ивановна как-то вдруг, внезапно и всякий раз испуганно и укоризненно говорила сама себе: «Батюшки, да что это со мной! Расспалась, дура этакая. А у меня теленок не поен! И ты, Фенюха, молчишь, толкнула бы в бок-то!» Минутой позже голос матери был слышен уже во дворе: «Стой, Зорька, сейчас тепленького принесу, стой, милая!» – и голос ее был так же покоен и светел, как и короткий, нечаянный сон...

Сейчас Феня продолжала стирать, не уступила матери корыта. Да и та, видать, сказала просто так, лишь бы сказать что-то: мать ведь знала характер старшей дочери, недаром говорила при случае: «Вся в отца – и обличьем и характером» – и, похоже, гордилась тем, что Феня уродилась именно такой. Постояв с минуту за спиной дочери, Аграфена Ивановна отошла, откинула заслонку печки и начала бросать в темный, широко открытый теплый зев ее сырые осиновые поленья – чтоб к утру подсохли, иначе их не разожжешь, будут шипеть до полудня – на завтра затеяна полная квашня хлебов, печь должна быть протоплена как можно жарче, не то погубишь тесто. Забросив последнее полено, вспомнила вдруг про Гришу: «К Новому году, чай, отпустят их на каникулы. Оборвался и обовшивел небось там, в общежитии-то своем. Господи, господи!» – и, выйдя на середину задней избы, повернулась лицом к образам, принялась долго просить о чем-то Пресвятую Богородицу.

Ни Феня, согнувшаяся над корытом, ни ее мать, стоявшая сейчас перед иконою, ни Леонтий Сидорович, по рекомендации райкома избранный на недавнем общем собрании председателем колхоза и пропадавший теперь где-то с утра до ночи, ни Павлик, забравшийся на печку и обтачивающий там черенок пастушьего своего кнута, ни тем более Катенька, спавшая на Фениной кровати, – никто из Угрюмовых не ведал, что вот уже полчаса возле их избы идет горячий спор промеж дяди Коли и почтальона Максима Пакленикова, которого бывший матрос перехватил у порога угрюмовской избы.

- Что так поздно, Максим? – спросил дядя Коля, преграждая почтальону путь к сеням.
- Письмо Феньке нес.
- От кого? От Филиппа Иваныча?
- Вроде как не от него.
- А ну, покажи.

– Это еще зачем?

– Покажи, говорю! Можя, ответ ей пришел.

Максим неохотно передал письмо.

Дядя Коля, потянув посылнее сигарку, посветил ею конверт. Прочел обратный адрес.

– Ты вот что, Максим... ты сейчас не носи. Тут надо все обдумать.

– Обязан вручить, – строго, с подчеркнутой официальностью вымолвил почтальон.

– С каких это пор ты стал таким аккуратным? На чарку надеешься? Смотри, как бы слезой бабьей не наполнилась та чарка. Пойдем лучше к Саньке Шпичу, посоветуемся. Не нравится мне это письмо.

Дядя Коля упрятал конверт в свой карман и отправился с почтальоном в сельсовет.

Санька Шпич сидел один во всем большом поповском доме, занятом ныне и под правление колхоза, и под сельсовет, и под детские ясли, и под фельдшерскую. Сидел под семилинейной лампой, отбросившей Жестяным своим абажуром большую круговую тень на давно не беленный потолок. С сельсоветскими делами Санька управился еще к полудню и мог бы со спокойной совестью оставить свою контору и пойти либо домой, либо с народом на гулянку, но сделать это естественное дело было невозможно. Невозможно по двум причинам. Во-первых, надо, чтобы народ знал, как занят Санька Шпич важными делами, дня ему не хватает на то, чтобы управиться с ними, приходится вот прихватывать и от ночи; во-вторых, в нашем учрежденческом быту постепенно начал укореняться порядок, каковой впоследствии перемешает прежние понятия о дне и о ночи, когда эти времена суток как бы поменяются местами – спать работники партийных и советских учреждений будут днем, а работать ночью. В области не погасится свет до той поздней минуты, пока он не будет выключен в одном кремлевском кабинете, откуда тихой мягкой походкой выйдет человек в защитного цвета, солдатского покроя мундире; в районе будут одиноко желтеть окна в кабинетах первого секретаря райкома и председателя райисполкома до того желанного часа, когда знакомый помощник первого в области не сообщит, что тот выехал домой. Так дело дойдет и до сельсовета, до Саньки Шпича, значит. До этой же поры он должен сидеть за своим столом, под огромной семилинейной лампой и коситься на висевший у дверного косяка телефон, похожий на саратовскую гармонь с колокольцами.

Санька только что спровадил Пишку и Тишку, по пути из нардома заглянувших к нему на огонек, и погрузился в созерцание бумаг, оставленных для него секретарем, когда в комнату ввалились озабоченные чем-то дядя Коля и почтальон Максим.

– Что там у вас? – тщательно следя за своим голосом, чтоб сохранилась в нем так трудно удерживаемая начальническая густота, строго осведомился Санька.

Дядя Коля улыбнулся и, к вящему неудовольствию председателя, вспомнил некрасовское:

– «Уж больно ты грозен, как я погляжу», – затем сжалился над Санькою, похвалил: – Ничего, Санек, с нашим братом так и нужно – построже... Не турни ты, скажем, сейчас Епифана с Тимофеем – на голову б сели. Это такой народец, я тебе скажу! Ну а нас ты прости. По делу к тебе, за советом.

Санька долго рассматривал на свет большой казенный конверт, так и сяк повертел в руках, вытащил из кармана увеличительное стекло и, приложив к глазу, еще раз пробежал по строчкам обратного адреса. Хмыкнул, почесал в затылке и только уж потом заявил категорически:

– Вскрывать нельзя. Нарушать тайну переписки никому не позволено.

– Дурачок ты, Санька! Какая же тут тайна? Письмо-то из наркомата, казенное. А вдруг там...

Договорить дядя Коля не решился. Но Санька понял его.

– Сейчас позвоню в район. Справлюсь.

Он подошел к телефону, широко расставил ноги и начал крутить ручку. Внутри желтой коробки что-то утробно заурчало, засипело, а Санька, подув в трубку, начал затем орать в нее, будто на ухо глухонемому: «Алло, алло!» Но, видимо, к этому времени все кабинеты в районе уже опустели.

– Никого нет, – потерянно обронил Санька и глянул на дядю Колю, у него ища подмоги.

– Ладно, Санек. Беру всю ответственность на себя. Революционному матросу не привыкать. Дай конверт!

– Ты чего надумал?

– Давай, давай. Не бойся. Свидетель есть – вот он, Максим, как-никак тоже должностное лицо.

– А может, не надо? До утра, а? – нерешительно бормотал Санька.

Но конверт был уже в руках дяди Коли.

Максим взмолился:

– Меня от етова дела уволь, Ермилыч!

– Уволю, уволю. Поди прочь! – Дядя Коля так сверкнул на бедного почтальона темными своими очами, что тот шарахнулся к двери.

– Можя, все-таки до утра?..

Дядя Коля теперь уж никого не слушал. Решительно вскрыл конверт, извлек совсем малую бумагу и читал ее долго-долго. Потом поднял тяжелые, покрасневшие глаза, воткнул их в оробевшего Максима:

– Ну вот... так я и знал... а ты...

Феня достирывала белье. Хоть и говорят люди, что сердце человеческое – вещун, что оно раньше чует приближающуюся радость ли, беду ли, но нет, ничего худого не ждало Фенино сердце: стучало ровно, как всегда. Завтра оно застучит часто и испуганно, а рот Неплакучей Ивушки будет хватать воздух, и в глазах у нее все помутится. Сейчас же время от времени она тихо, про себя улыбалась, прислушиваясь к настойчивым, нетерпеливым толчкам родившейся в ней новой жизни, шептала: «Так, так ее, ишь мамка, какая неосторожная, сделала больно маленькой. Побей, побей меня, доченька. Так, так ее!»

Глава 8

Первая похоронная, полученная в доме Угрюмовых, была первой и для всего Завидова. Люди еще не знали, что черная эта гостья явилась для того, чтобы сказать им: «Приготовьтесь, я первая, но не последняя, за мною придут другие, и будет их так много, что и слез ваших не хватит: выпьют все до самого доньшка». Однако уже сейчас завидовцы тревожно примолкли, насторожились, смотрели друг на друга вопрошающе-испуганными глазами. Война, считавшаяся далекой, вдруг как бы придвинулась вплотную и стала осязаемо-зримой.

Филиппа Ивановича успели узнать все. Совсем недавно, длинноногий и простодушный, вышагивал он по селу, заходил то в одну, то в другую избу, подолгу расспрашивал всякого о житье-бытье, рассказывал и о себе, о недавней своей службе в танковой части, об испанских событиях говорил так, как бы он был уж их непосредственным участником. И вот теперь Филиппа Ивановича уже нет и никогда не будет, и на его месте в сельсовете сидит Санька Шпич.

В дом Угрюмовых шли и шли завидовцы. И все хотели собственными глазами посмотреть на ту бумагу, потрогать ее, страшную, своими руками; Феня не спрятала ее в сундук, а оставила на столе как бы на всеобщее обозрение. Сама которой уж день не выходила из горницы, не впускала к себе никого, кроме Маши Соловьевой.

Вдова!

Услышав это слово на второй же день после получения известия о гибели мужа, Феня не вдруг, не сразу поняла, что оно обращено к ней. На селе остались вдовы еще от Первой мировой и Гражданской войн, но то были пожилые женщины, обитающие в ветхих избах и вечно что-то просящие у односельчан: то дровишек, то соломы им надо привезти, то подлатать прохудившуюся крышу, то просили помочь вспахать огородишко под картошку. Стать вровень с этими несчастными Феня не могла даже в мыслях и потому сильно осерчала, когда услышала от матери: «Вот ты теперь и вдова, Фенюшка!» Осерчав, посмотрела на мать долго и пронзительно. Жарко дыша прямо в лицо Аграфены Ивановны, попросила:

– Мама, никогда больше не называй меня так. Никогда!

И в облике ее, вдруг как бы застывшем, опять проглянуло знакомое, угрюмовское.

...Одна только Феня и стояла молча на сельсоветской площади в июньское воскресенье сорок первого года среди всхлипывающих украдкой и откровенно рыдающих односельчанок. Обнимая за плечи вышедшую замуж всего лишь несколько дней назад Машу Соловьеву и теперь провожавшую своего Федора на войну, Феня глухо и грубовато говорила ей:

– Ну, что ты ревешь, Мария? Жив ведь еще твой Федька. Глянь, какие кренделя выплывает кривыми своими ногами! Будто рад, сердечный, что вырвался от тебя! – И, видя, что подруга огневилась, перевела на иной лад: – Ну, довольно, поревела, и будя.

Стоя на крыльце поповского дома, как на трибуне, и выбирая тот короткий момент, когда бабьи голоса чуточку затихали, Санька Шпич выкрикивал очередями, по нескольку фамилий, мобилизованных. Когда в одной из очередей послышались имена Пишки и Тишки, то первый с необыкновенным проворством растолкал толпу и оказался рядом с председателем:

– Постой-ка, постой, Шпич, ты не перепутал? У меня ведь грыжа. Вот и справка...

– Справка твоя недействительна, дядя Епифан! Я знаю, где ты ее раздобыл. Лучше бы ты убрал и никому не показывал свою бумагу.

Пишка хотел возразить, но не успел: чья-то сильная рука ухватила его за штанину и сдернула с крыльца. Матюкаясь, Пишка скрылся в толпе. Дядя Коля – а это он стащил Пишку – теперь сам поднялся на крыльцо, взял из рук председателя список и долго отыскивал в нем себя. Не найдя, в сердцах сплюнул:

– Какая же война без старого матроса?! А ну, Санек, записывай меня добровольцем. А Пишка пускай остается с бабами да ребяташками дома. Все одно из него воин, как...

Уха Пишкиного каким-то образом достигли эти обидные слова, хотя и были они произнесены вполголоса. Он сызнова оказался на крыльце и, рисуясь, на виду у всех порвал в мелкие ключья злополучную справку и пустил обрывки по ветру. Вид его был так смешон, что даже вновь испеченные солдатки на какое-то время перестали причитать и выть. Откуда-то из толпы прорезался маломощный голосишко Тишки:

– Санька! Шпич! В одно отделение меня с Пишкой, слышь?

– В военкомате скажут, кто и куда, – подал свой голос до этого молчавший представитель райвоенкомата. Саньке он посоветовал: – А ты бы поскорее. Митинговать тут ни к чему. Война. – Стоявшему все еще на крыльце дяде Коле сказал совершенно серьезно: – До тебя, гражданин, пожалуй, очередь не дойдет. Ты свое отвоевал. Побудь теперь дома. Для тебя и тут дела найдутся.

Дядя Коля горько усмехнулся:

– Я ведь знал, что вы скажете это самое. Боюсь, парень, что и на мою долю войны хватит. – И, насуспенный, суровый, сошел с крыльца.

Поздно вечером, когда бабьи завыванья поутихли, в появлении колхоза заседал актив под председательством Леонтия Сидоровича Угрюмова.

– Взяли у нас пока что сто мужиков, – сообщил он. – И вижу: на том дело не остановится.

– Какое там! – поднялся дядя Коля. – Слышали по радио: сто семьдесят дивизий двинул против нас Гитлер. Так что всех под метелку заберет эта война.

– Об чем я и говорю, – Леонтий Сидорович обвел сидящих медленным взглядом. – Я ведь не зря позвал вас, стариков, да вот женщин. Пожалуй, вы одни только и останетесь тут. И мне недолго царствовать. И председатель сельсовета не нынче-завтра туда же... куда и все. А делишки приспели: начинается сенокос, не за горами уборочная. Трактористов и комбайнеров почесть всех нонче отправили.

– Девок да молодых солдаток придется сажать за руль и штурвал, – сказал пожилой колхозник.

– К тому и речь веду, мужики. Звонил в райком, час назад. Федор Федорович советует не тянуть с этим делом: завтра же отобрать первую партию – и в район, на курсы. Мальчишек пятнадцатилетних – тоже. И это еще не все. Предупреждает Федор Федорович: на днях нагрянет комиссия, отберет для фронта лучших лошадей, туда же пойдут и новые трактора. С тяглом будет совсем худо. Вот я и думаю, Николай Ермилович, не начать ли нам обучение полугодовалых бычков. У нас их десятка два наберется. Полегчать их всех – а через полгода вот вам и волю, и им будешь рад. Как вы думаете?

– Да так же, как и ты, Левонтий, – сказал дядя Коля, явно польщенный тем, что, говоря о новых заботах, нежданно-негаданно свалившихся на артель, Леонтий Сидорович чаще всего обращался за советом именно к нему, старому матросу, которого однажды готовы были вовсе списать со счетов.

– А тебе, Артем Платонович, – продолжал председатель, повернувшись в сторону Апреля, – придется огороды сдать на время, ну, хотя бы своей Прасковье, и заняться теми бычками. Ты ведь знаком малость и с ветеринарным делом.

– Не по мне это, – вздохнул Апрель.

– Мало ли – не по мне! Торчать с сетями на речке – оно приятнее, конечно, услада душе. Только вот война не спрашивает нас, где нам хорошо, а где плохо. Где нужно – там теперь, Артем, наше с тобой место. Завтра же начинай легчать бычков. Оно конечно, лучше бы зимой, да что поделаешь: надо!

Где-то за полночь обговорили все дела и поднялись, чтобы разойтись по домам, когда объявился Тишка. Хватая по-рыбы воздух маленьким своим ртом, он едва вымолвил:

– Левонтий... что же это, а? Забраковали вчистую, так их мать! Сто болестей отыскивали во мне. И сердце не там, где ему полагается, с печенкой чтой-то. И грыжу не у Пишки, а у меня нащупали. И ступня плоская. И еще чего-то там...

– Ну и хорошо, в колхозе будешь на вес золота.

– Како там, засмеют.

– Военный-то билет при тебе?

– Отобрали. Признали негодным по всем статьям и сняли с учета.

– Это покамест, Тимофей. Придет время – сызнава на учет возьмут, – авторитетно успокоил дядя Коля. А Артем Платонович с радостью прибавил свое:

– Не тужи, Тишка. Завтра бычков будем легчать. Ты ить первый мясник в Завидове. Теперь за коновала сойдешь.

– Чего еще надумали? – Тишка, гневно помаргивая черными своими глазками, уставился на председателя.

– Артем правду говорит. – И тихо прибавил свое, привычное: – Надо так, Тиша. Пастух Тихан Зотыч спросил:

– Можа, мне пойти отделить бычков-то?

– Успеешь, – сказал Апрель.

– Правильно, Тихан, – поддержал пастуха Леонтий Сидорович, – поутру приступите.

Тихан, поддерживая свою изуродованную левую руку, заторопился к двери. Ни он, ни забракованный по всем статьям Тишка, ни Апрель, ни дядя Коля, может быть, и не думали тогда, в первые дни большой войны, что им-то и суждено будет вместе с бабами и ребятней взвалить на свои плечи всю безмерную тяжесть тыловых забот и нести ее все бесконечно долгих четыре года.

Утром шесть полуторагодовалых бычков томились в особом закутке за фермой. Они явно не понимали, почему отделили их от стада, которое уже подымалось в гору, в поля, пестро рассыпавшись по росистой зелени. Положив мягкие, бархатно-лоснящиеся шеи на изгородь, животные трубно и согласно мычали, провожая удаляющееся стадо тоскливо-недоумевающими глазами. На шее каждого висели бирки, новенькие, изготовленные Тиханом, похоже, ночью. Ночью же, вероятно, и состоялись крестины, ибо каждый бычок получил теперь собственное имя. Видно, Тихан за полтора года успел хорошо изучить характер, повадку, норы своих подопечных, потому что даденные им имена оказались как нельзя подходящи. Крутолобий красавец с блестящими, серебристого оттенка кудрями меж коротких, отлого поставленных рогов был назван Веселым. Теперь, когда его собратья жалобно взмыкивали, немигаючи глядя на удаляющееся стадо, он прохаживался по закутку, пробуя рогом то вереву у ворот, то перекладину изгороди, то кучу навоза, то бок какого-нибудь особенно пригорюнившегося товарища по несчастью, – словом, Веселый не унывал. Сейчас он сделал попытку вызвать на малый поединок тихого темно-рыжего бычка, оттеснил его от изгороди, набычился, попятился назад и затем вновь пошел на сближение, издав утробный, звериный рев. Рыжий – он так и был назван Тиханом – не принял боя, отошел прочь, укрылся в дальнем углу закутка. Как бы подумав о чем-то, Веселый решительно направился к такому же бурому, но бесхвостому бычку, которому пастух – за невзрачную ли одежду, за то ли, что кто-то из завидовцев, захватив на собственном огороде, оттяпал ему хвост по самую репицу, и бычок был теперь вроде инвалида, – словом, неизвестно почему, но Тихан присвоил ему имя Солдат, позже женщины присовокупили к нему слово «Бесхвостый», – так вот Веселый двигался теперь к Солдату Бесхвостому. И тот, приметив это краем круглого, окровеневшего в ярости глаза, не стал ждать – двинулся навстречу забияке. Глухо стукнувшись широкими лбами, выгнув спины, они с переменным успехом теснили друг друга. Из красных ноздрей разымчиво вымахивал горячий дымок; бывали минуты, когда силы как бы уравнивались, тогда бойцы припадали на колени,

хитрили, делая вид, что отдыхают, а сами бдительно следили, чтоб противник не упредил, не вскочил на ноги мгновением раньше и не поверг неприятеля неожиданным ударом в бок. В конце концов это удалось Солдату Бесхвостому. В непостижимо малую секунду он отцепился от рогов Веселого, отскочил и с разбега наподдал ему под брюхо, да так сильно, что тот перевернулся через спину и обреченно ждал своей участи. Но неписанный закон о том, что лежащего не бьют, был, похоже, законом не только среди людей. Во всяком случае, Солдат, убедившись, что его супротивник повержен, обнюхал Веселого, даже лизнул его кудрявую голову и с миром удалился прочь, встал на прежнее свое место, меж Гришкой и Ванькой, с которыми у него была давняя дружба: Гришка и Ванька пока что были самыми слабыми среди своих ровесников в стаде, и Солдату Бесхвостому нравилась покровительственная роль над ними. Сейчас они встретили его приветственным, вроде бы поздравительным мычанием и принялись охорашивать шершавыми языками попорченную немного во время сражения прическу, слизнув заодно с конца рога клочок шерсти от Веселого.

Совершенно особняком стоял в закуске бычок, коего можно было бы окрестить Недотрогой, – он ни с кем не связывался, и его никто и никогда не задирали в стаде. Всякого недотрогу, однако, обычно недолюбливают, этот же был всеобщим любимцем. По ослепительно белой шерсти с искусством, на которое способна лишь природа, были разбросаны черные и красные, без четких очертаний, пятна – они-то и придавали обличаю этого бычка нарядный, праздничный вид. И при одном взгляде на доброго этого молодца с твоих губ непрошено, само собой готово было сорваться солнечное, радостное слово: «Цветок». Он был чистюля, этот Цветок. Ни зимой, ни летом ни по бокам его, ни на хвосте ни когда не увидишь неряшливых навозных нашлепок, словно бы Цветок и сам знал, что он Цветок, и ему не полагается быть испачканным.

Цветок стоял пригорюнившись. Вспомнилась ли ему сочная июньская травка, которая бывает очень уж вкусна поутру, или такая же пестрая полуторагодовалая подружка, за которой он, Цветок, пробовал ухаживать, но пока что получил решительный отказ – раньше времени начал свои домогательства юный ухажер; а может, недобрые предчувствия поселились в его душу, кто же знает? На вошедших в загон мужиков Цветок не обратил ни малейшего внимания, хотя его одногодки сразу же заволновались, забегали по кругу, прижимаясь боками к изгороди. Их встревожило то обстоятельство, что среди мужиков не оказалось Тихана, к которому быки давно привыкли и которого в общем-то любили, хотя Веселому и Солдату, скажем, любить пастуха вроде бы не за что: они знакомились с Тихановым кнутом чаще, чем им хотелось бы. Появление Павлика Угрюмова несколько успокоило животных. Бег их по загону начал замедляться, а затем они и вовсе остановились, часто нося боками.

Двумя часами позже бычки тихо лежали на золотистой соломе, покрапленной еще не запекшейся кровью, и в сумеречных, прижмуренных и слезящихся глазах их ничего не было, кроме дремучей тоски и безответного, горького вопроса: зачем это сделали с ними? И поднявшееся высоко июньское солнце, и громкое мычание подруг, пригнанных на водопой, и возок со свежей и сочной травой, только что привезенной в загон, и ласковое бормотанье Тихана, пришедшего проведать несчастных своих питомцев, и бодрый, звонкий голос пастушонка, и терпкий запах разогретого и курящегося навоза – ничто не радовало бычков. Жизнь, вчера еще полная ликующего смысла, казалось, в одну минуту безжалостно отвернулась от них.

Тем временем в доме Угрюмовых собрались Фенины подружки. Скликать их Феню попросил отец, решивший, что дочери легче будет уговорить девчат и молодых женщин-солдаток завтра же отправиться в район на месячные курсы трактористок и штурвальных (трех комбайнеров удалось сохранить от мобилизации, на них Леонтий Сидорович выхлопотал бронь). Расчет был простой: к самому разгару уборочной подготовить новый отряд трактористов и штурвальных, который хоть в какой-то степени мог заменить ушедших на войну ребят. До прихода подруг Феня старательно готовила слова, с которыми обратится к ним, чтоб все они

хорошенько поняли ее и поддержали. Но не успела Феня еще и рта раскрыть, как Маша Соловьева заговорила:

– Бабы, девчата, в районе, сказывают, курсы для нас открылись. Давайте проситься. Без мужика-то теперь тошно будет в избе одной. Едемте, девки! Чего там!

Феня вся так и просияла:

– Правильно, Маня. А я ведь для того вас и позвала. Отец велел поговорить. На трактора некого сажать. Вон и сенокоска на лугах встала.

С давних времен у завидовских девчат было в обычае летом проводить воскресенье на лугах. По весне их заливают, и потому и в дождливое и засушливое лето травы вырастают буйные, по грудь взрослому человеку. В июньскую пору луга особенно хороши: цветут белый, красный и сиреневый клевера, белая душистая кашка, метелка, конский щавель, донник, а посреди лугов, в оставшемся от половодья озере, – желтые кувшинки и белые лилии – ничего лучшего для венка и не придумаешь. В прошлое воскресенье с самого утра девчата собирались пойти на луга похороводиться, наплести побольше венков, похвалиться нарядами, поиграть в прятки, просто поваляться, раскинув широко руки и глядя в синее бездонное небо, послушать, как в груди сладко, в счастливом предчувствии каком-то стучит сердце, как замирает оно, словно бы и вправду тает, напеться песен и, опьянев от всего, под вечер вернуться домой.

– Девоньки, давайте выйдем в луга. Что мы, в самом-то деле!

И они шумно выскочили на улицу и почти бегом направились к лугам с напускным весельем, не идущим к военному времени и потому не радующим никого из наблюдавших за ними из окон.

Фене, однако, пришлось вернуться. На краю села, возле самых лугов, на дороге, ведущей от Дальнего переезда, она увидела Гришу и Серегу, быстро приближающихся к Завидову. В руке Гриша нес чемодан, а Серега – через плечо за спиной – узелок. У Фени так все и замерло внутри. И Гриша, видя, как она прижимает руки к груди, как бледнеет, закричал:

– Феня, что ты? Ай не рада?!

– Вы что так... рано?

Гриша посмотрел на Серегу. Потом – снова на сестру.

– Ты, Феня, маме только не говори, мы – добровольцами. На день отпросились домой. А завтра... – И засмеявшись, брат запел фальшиво, неестественно: – «...завтра ра-а-но, чуть светочек, заплачет вся моя родня-а-а».

– Перестань! – прикрикнула на него Феня, и такая боль и мука плеснулась в ее глазах, что Гриша испугался и смолк. Молча так и дошли до избы.

Что было в остаток этого дня и ночью в угрюмовском доме, никто из завидовцев не знал. Зато утром многие видели, как уже на улице, ухватившись за пиджак сына, Аграфена Ивановна, растрепанная, иступленно кричала:

– Не пуцу-у-у! Не отдам!

Леонтий Сидорович увел ее в дом. Три дня и три ночи слышали люди ее завывание – то в самой избе, то да задах, в огороде, то во дворе. А потом Аграфена Ивановна смолкла, перед закатом выходила на околицу села и долго глядела на дорогу, по которой ушел на войду ее сын. Бабы, наблюдая за ней, тихо и встревоженно переговаривались:

– Господи, никак Аграфена ума лишилась?

– Лишишься. Тогда зять пропал, а теперь вот и Гришу, сына, проводила.

– Можя, возвратится.

– Дай-то ей Господь.

– Да что вы, бабы, о ней сохнете? У нее муж дома, дочь вон какая. Не пропадет. А каково мне? Одной с тремя сопливыми?!

– Не одна ты теперь такая, Дарья.

Глава 9

В студеное январское утро 1942 года Феня с трехлетним Филиппом Филипповичем переехала в районный центр. Там, в МТС, завидовские трактористки занимались ремонтом тракторов, готовили их к посевной. Феня поселилась у дальней материнной родственницы, которую почти все завидовцы звали тетенькой Анной. Кто бы из них ни приезжал в район по делам, обязательно перед тем, как отправиться в обратный путь, зайдет к тетеньке Анне побаловать себя чайком. Старая изба, притулившаяся на окраине большого поселка, для завидовцев давно заменила Дом колхозника, к тому же тут не надобно было платить: тетенька Анна не брала с постояльцев ни копейки, разве что ведро картошки кто подкинет – она и тому рада. Трех сыновей проводила тетенька Анна на войну, на одного получила похоронную, наплакалась досыта, а теперь уж не плачет, только вздохнет глубоко и прерывисто, помолится, попросит о чем-то Пресвятую Богородицу и опять примется за дела, которых теперь прибавилось: нужно было простирнуть Филипповы штанишки и рубашки, просушить, прогладить их, вскипятить молока, сварить нехитрую еду. По ночам, лежа на жарко натопленной печи, тетенька Анна все ворочалась да вздыхала. Феня как-то посоветовала ей:

– Что ты все вздыхаешь, тетенька Анна? Лучше бы поплакала, от сердца-то отвалит, и легче будет.

– Нет уж, доченька, погожу. У меня на войне еще два сокола. Побережь слезы-то материнские надоть.

Потрясенная и самими этими словами, и тем, каким ровным голосом они были сказаны, и тем, что старая эта женщина приготавливала себя к худшему и как бы загодя распределяла душевные силы свои, чтоб хватило их на всю войну, – но более того тем, что сердце тетеньки Анны не закаменело, не ожесточилось, как то нередко бывает, когда человек замыкается в себе после первого страшного удара судьбы, а было по-прежнему добрым и отзывчивым на чужую беду, – потрясенная всем этим, Феня не смогла заснуть до самого утра, хотя все тело было разбито тяжелой работой.

Ремонтировать тракторы приходилось, по сути дела, во дворе МТС, при лютой стуже – не назовешь же помещением длинный навес. Под открытым небом, верно, было бы лучше: не свистели, не завывали бы по-волчьи; не лютовали бы сквозняки. Чтобы установить в разобранном тракторе какую-то деталь, то и дело снимали рукавицы или шерстяные варежки, и тогда пальцы прикипали к седому от мороза металлу. Теперь-то женщины наловчились: прикоснется палец к подшипнику ли, к клапанам ли, к заводной ли рукоятке, они подышат на него, отогреют и вызволят таким образом из ледяного капкана. А первое время вгорячах испуганно отдернут руку, и на железках оставят клочок живой кожи. Обожжет сильно острая боль, поднимет с земли трактористку и заставит долго прыгать возле растелешенной машины, тряссти по-ребячьи пострадавшей рукой в воздухе либо так же, по-ребячьи, дуть на пальцы. Умывшись слезами, женщина вновь принимается за дело, что-то ковыряет то ключком, то отверткой, то плоскогубцами в тракторных внутренностях (а опыту-то вот столечко...), сделает, глядишь, не так, придет бригадир, забракует всю работу, начинай тогда все сызнова. Ему, бригадиру, что? Сидит в теплой курилке в компании других «бронированных» над картой боевых действий и судит-рядит о войне, генерал несчастный. А девчата мерзят тут, мучайся. Иногда Феня не выдерживала, видя, как ее подруга Маша Соловьева мается одна, подбегала к ней, подсобляла, как могла, а когда и вдвоем не справлялись, врывалась в караулку, набрасывалась на бригадира:

– Ты, Тишка, долго будешь свои колокола-то греть тут, а? Ишь уселся! А ну, марш к девчатам, грыжа несчастная!..

С каких-то пор Феня заметила, что грубая мужичья брань бывает не самым плохим помощником не только в обращении с их строптивым бесхвостым быком, но и с мужиками.

Однажды крепко присоленное слово вырвалось у нее как-то само собой, непроизвольно, когда погоняла Солдата и тот решительно не обращал никакого внимания на бабьи ее понуканья. Выругавшись, Феня сама ужаснулась этому, вспыхнула вся, покраснела, оглянулась на Машуху Соловьеву, а та залилась смехом почему зря, корчилась даже.

– Ну и ну, Фенька! Глянь, глянь, а Солдат-то пошел быстрее! Еще его, Феня! Еще!

– Да ну тебя, Маша. Нечаянно это у меня.

– Ничего. Привыкнем, кажись, скоро. Мы ить теперь наполовину мужики.

– Нет. Все одно негоже. Бабы мы с тобой, да еще и молоденькие. Почесть девчонки.

Больше ты от меня не услышишь такое...

Тишка, определенный над ними бригадиром, сейчас не на шутку струхнул, подхватился и мигом оказался возле девчат и солдаток.

– Ну что, девоньки, прозябли? А ну-ка, комсомолочки, дай-кося я погрею вас!

Тишка по-кочетиному, боком, боком, подходил то к одной, то к другой, толкая трактористок в плечо, в спину. Девчата, однако, не приняли заигрывания, зашумели на Тишку, обозвали разными нелестливыми словами, а в довершение свалили в сугроб, расстегнули ватные штаны и насыпали в них сухого, как песок, жгуче холодного снега, так что пришлось бригадиру вновь бежать в караулку и отогреваться. Девчата же долго хохотали, и от хохота собственного малость угрелись, и дружно принялись за дело. Тишка вышел к ним вновь и теперь был несокрушимо серьезен и подчеркнута суров. Девчата приняли его личину, подстроились к ней с поразительной быстротой. Одна за другой подзывали к себе, чтобы получить толковый бригадирский совет. Отовсюду слышалось:

– Тиша, кольца чтой-то не подходят.

– А у меня карданный вал...

– Тиша, глянь, ради Христа. Смотрю в эту схему, а ничегошеньки в ней не смыслю. Помоги, не гневайся на меня!

– Тимофей Петрович, ты б отпустил нас на денек домой, в баньке попариться, шоболы постирать. Обовшивели мы тут вконец! Не девки, а бабы-яги сделались, глазыньки бы не глядели на всех нас. А у Феньки дите малое, дал бы ты ей передохнуть!

Тишка важничал. Ему отродясь не приходилось начальствовать над людьми (даже собственная жена ни во что не ставила его), с тем большим удовольствием делал он это сейчас, нечаянно вознесенный на бригадирский престол. И этот новый обязывающий пост, и отсутствие его душеприказчика Пишки, да и не в последнюю голову нуждишка, быстро поселившаяся по всем подворьям и не обошедшая своей немилостью его дом, – все это вместе надолго вернуло Тишку в лоно завидовских трезвенников. Махорка осталась для него единственной усладой; сигарка размером в добрый мужицкий палец не покидала его рта, кажется, ни днем ни ночью, так и висела, приклеившись к нижней губе, оттянув ее книзу и обнажив синие, с редкими желтоватыми зубами десны. С тлеющей папиросой во рту подходил он и к трактору, совался иной раз туда, где сочилось горячее, и женщины испуганно выдергивали у него самокрутку, бросали в снег и торопливо затапывали.

– Это же керосин, дуры! Разве он от папиросы загорится! – говорил при этом Тишка и начинал строго отчитывать иную: – Што же ты трубку-то не продула? Ай не видишь, что засорилась она у тебя?

– А ты сам продуй! Губы-то толстые, можа, останутся на энтой медяшке!

– Испугалась? Ишь какая нежная!

– Такая уж родилась.

– На язык-то ты, Маруська, остра, вот бы еще на дело...

– А что? Аль не справлюсь? Иди-ка ты, бригадир, ко всем чертям, без тебя обойдусь. Вон к Стешке-зверюге отправляйся. Что-то она там примолкла. А давеча вроде плакала...

Феня, до этого молча прислушивавшаяся к Машиной перебранке с бригадиром, сейчас быстро подошла и, бледная, горячо выдохнула:

– Ты вот что, Машка, ты... забудь про это слово, слышишь! Можя, Стеша больше всех сама себя казнит!

– Тю ты... Что с тобой? Я ведь без сердца! Все меж собой так ее называют. Помнишь, чай, как Пишка рассказывал. Собственными глазами видел, как она своих ребятишек на замок заперла...

– Нашла свидетеля! У Пишки язык подлиннее бабьего...

Бригадир решил вмешаться:

– А ну хватит, бабы! Дело не ждет. Завтра приедет комиссия и Знобин будто бы.

Степанида Луговая, та, что в горьком тридцать третьем году, по слухам, уморила своих детей, уже немолодая женщина, добровольно пошла учиться на трактористку, сильно озадачив этим односельчан. Вот уже около десятка лет она жила в своей избушке в полном одиночестве, сама ни к кому не ходила, и к ней никто не приходил, видели ее односельчане чрезвычайно редко, разве что в поле, на колхозной работе, да и то издали, потому как Степанида всегда просила, чтобы ей отвели участок где-нибудь в сторонке от артельных, даже за водой ходила к колодцу поздней ночью, когда Завидово погружалось в сон, и печь протапливала тоже ночью, чтоб не привлекать поутру дымом чужого и – она знала – недоброго глаза. Взглядывая издали робко, с какой-то оторопью на молчаливую ее хижину, завидовские женщины – а были среди них и ее бывшие подруги – нет-нет да и скажут:

– Батюшки мои, и как только ее земля держит? Другая на ее-то месте руки бы на себя наложила, а эта все живет!

– Бог, знать, такое наказание ей определил, чтоб жила да маялась. Это, чай, пострашнее смерти. Смерть-то в избавленье была б для Стешки... – говаривали старухи.

И вот такая Степанида приходит однажды в правление среди бела дня, становится возле председателя стола, упирается в стол этот обесцветившимися, дымчатыми глазами и говорит торопливо, требовательно и сухо:

– Посылай и меня на тракториста, Левонтий.

И теперь ковыряется в ледяных железках одна, никого не подзовет, ни к кому не подойдет за советом. На вопрос сжалившегося над нею бригадира, почему она так делает, ответила спокойно, как давно выношенное, вызревшее в душе:

– Зачем же такое наказание добрым людям? Им ить страшно и тошно ко мне подходить, и они не виноватые.

– Как же так можно жить, Степанида?! – вырвалось у Тишки.

– Можно, коли живу. Иди, иди к Машухе, Тимофей Петрович, а я уж сама как-нибудь...

Тишка долго потом не мог взять в разум, зачем же после всего случившегося с нею Степанида Луговая не скрылась с людских глаз, не покинула навсегда Завидово, не перебралась куда-нибудь подальше, где никто не знал и не узнал бы ее прошлого, где б она могла работать со всеми вместе и, может, вышла бы замуж (она ведь женщина видная), глядишь, народила бы еще детей, обзавелась семьей и жила бы, как все люди на земле. Думая об этом, Тишка вспомнил, что так же, как и на ремонте, Степанида на курсах трактористов была, пожалуй, самая прилежная, а по успеваемости уступала разве лишь Фене Угрюмовой.

Как ни торопились с ремонтом тракторов женщины, до весеннего разлива все-таки не успели. Весна в том году на Саратовщине тоже, видать, торопилась и упредила эмтээсовцев. К концу февраля уже явственно чуялось первое ее дыхание. К полудню с соломенных крыш начинала падать капель, образуя на потемневшей наледи крохотные лужицы, в которых, сперва напившись, уже пробовали купаться воробьи. Встопорщив перышки, они по-мальчишечьи барахтались в прозрачной водичке, чулюкали, оживленно говорили о чем-то на своем

птичьим языке; накупавшись и наговорившись, улетали к конюшням, бойко копошились в теплом, долго не замерзающем навозе. По всем подворьям забеспокоились куры; громко квохча и кудахтая, они приглядывались к хлевам, к сараям, к чердакам, примечая впрок, где бы вскорости положить яйцо; в предчувствии весенней поры пребывали и кочета: пламенно-оранжевые, серебристые, жгуче-черные, с еще не совсем зажившими, прихваченными морозцем гребешками, бойцовски оттопыренными шпорами на длинных чешуйчатых ногах, они величественно, с сознанием безграничной своей власти, расхаживали среди собственных гаремов, ревностно оберегая их от внезапного вторжения нахальных соседей. Время от времени – чтоб покрасоваться, что ли, – петухи взлетали либо на плетень, либо на крышу хлева и, встряхнувшись, громогласно возвещали миру о своем земном существовании и для того еще, чтобы соседские кочета не заблуждались относительно того, что их может ожидать в случае, ежели б им вздумалось наведаться на чужой двор. Скотине же сделалось и вовсе невтерпеж стоять по хлевам и закуткам – коровы и овцы норовили убежать либо на колхозный двор, либо к соседскому стожку сена, более чем наполовину скормленного; ну а коз, тех и вовсе никакие плетни, никакие ворота удержать не могли, можно было видеть, как то на одной, то на другой крыше, на самом ее коньке, неподвижно стояло это бородатое, куцехвостое существо, четко прорисовываясь на как бы заново подсиненном полотне небес; человек мог приблизиться к избе, несколько раз обойти вокруг нее, измерить глазами высоту от земли до крыши, но так и не найти ответа на вечный, всякий раз встающий перед сельскими людьми проклятый вопрос: «Как ее угораздило взобраться на такую вышину?» В задумчивости человек еще раз запрокинет голову, встретится с устремленным на него с крыши бесым, чуть прижмуренным глазом, непременно матюкнется и уйдет восвояси.

Хоть и купались воробьи в первых лужицах, хоть и важничали пуще прежнего кочета, хоть и взбрыкивали сверх положенной им нормы козы, хоть и свисали поутру красноватые от соломы рубчатые сосульки, хоть и вторглось что-то неизъяснимо волнующее в затрепетавшее, сладко сжимающееся сердце, никто в Завидове по-настоящему не верил в столь раннее приближение весны. По прежним опытам завидовцы знали, что и в середине марта, не то что в феврале, порой завьюжит, завихрит, да еще и мороз может приударить ночью и под утро так, что не хватит дневного солнышка, чтобы растопить, разрушить ледяную твердь, – не без боя отдает зима свои рубежи, она еще постоит за себя, подметет все на гумнах и в закромах.

И все-таки на этот раз люди ошиблись. Может быть, потому, что война, сделавшись хозяйкою на огромной части планеты и будучи сама по себе явлением противоестественным для здравого смысла, которым в высшей степени обладает природа, – может быть, война ввела свои нормы, свои порядки, вмешалась дерзко и злобно и в законы природы... Как бы там ни было, весна 1942 года пришла нежданно-негаданно быстро, уже в начале марта по оврагам, балкам и дорожным колеям побежали стремительные потоки воды – сперва прозрачной, затем все более мутнеющей и под конец оранжево-желтой. Страшный рев стоял у плотин, в тесных проранах рек, в сваях у мостов – всюду, где вода встречалась с каким бы то ни было препятствием. В одну ночь вскрылись реки. Крошечная и безобиднейшая летнею порою Баланда, путь которой прослеживался лишь по омутам, соединенным чуть шевелящимися, невидимыми в камышах и талах ручейками, сделалась неузнаваемой. Пушечным грохотом заявила она о себе, когда с гор, из лесов и лугов под толстую кромку льда у ее берегов хлынули ручьи и, скопившись, резко подняли полтораметровую толщу льда, разломали его на части и понесли вниз по течению. Теперь если б зима и собралась со всеми своими последними силами, то не смогла бы уж ничего поделывать: весна, черпая свою мощь в подвигающемся где-то далеко позади лете, бесстрашно двинулась вперед, и теперь для нее был сам черт не брат. Вешние воды не могли поместиться в русле реки, Баланда вырвалась из своих берегов, разлилась на много верст окрест, затопила ближайшие луга, леса и даже селения. Захваченное врасплох Завидово оказалось по окна в воде в низинной своей части – в Поливановке, на Хуторе и на восточной

окраине. Село огласилось криками людей, блеянием овец и ревом коров, жутким, переворачивающим душу воем собак, кудахтаньем кур, спасавшихся на крышах изб, хлевов, поветей и сараев; по затопленным улицам поплыли первые лодки с домашней поклажей – это низовские вывозили свое добро к знакомым и родственникам, избы которых были на возвышении и не затоплялись. Коровы, овцы, свиньи и козы добирались до сухого места вплавь и, едва ступив на твердую землю, всем скопом устремлялись на первый по пути двор и жадно набрасывались на дармовой корм; вкусив хозяйского кнута или дубины, покидали это подворье и сейчас же всем стадом штурмовали следующее – и так до тех пор, пока не насытились и не улеглись на пригретом солнышком бугре, целиком отдавшись блаженно-дремотному занятию – пережевыванию жвачки, или серки, как говорят в Завидове.

Всякую весну низовские несли определенный урон в своем хозяйстве и, поселившись в Поливановке или на Хуторе, сознательно шли на такую «втрату». Наступавшее вслед за весной лето сторицею возвращало им понесенные потери – заливные огороды и сады приносили двойной или даже тройной урожай против того, что получали завидовцы верховские. Если к тому еще взять в соображение то обстоятельство, что в двух шагах от низовских находились луга и лес, то Поливановка и Хутор по главной сути своей более всего соответствовали названию самого поселения – Завидово.

Основание Поливановке положил Артем Платонович Григорьев, прозванный Апрелем как раз за то, что именно в этот месяц его изба – в ту пору единственная – всякий раз погружалась по грудь в студеные вешние воды с понятными для всех людей последствиями. В первые-то годы его в глаза и за глаза называли сумасшедшим, но затем присмотрелись, примерились, взвесили, что к чему, и примолкли: не такой, оказывается, он дурак, этот их длинноногий Апрель! Помимо огорода, на полметра покрытого плодоноснейшим илом, помимо близких, как бы просившихся на его двор лесных и луговых пастбищных угодий, по весне прямо перед окнами Апрелевой избы возникало еще одно пастбище, не менее прибыльное, – рыбное. Пока жена и дети переправляли на сухое место худобу, сам плавал на челноке перед окнами, на задах, за хлевами, и одну за другой расставлял связанные за зиму или починенные сети, а по канавам, на быстром течении, – вентери и верши; знал рыбак, что в разгар половодья встреч бурным потоком двинутся метать икру щука, жерех, сазан и язь, а по спокойным плесам пойдет пастись лещ.

Нынешняя необычайно скорая весна не застала врасплох, пожалуй, одного лишь Апреля. Всю ночь, пока ломался, трещал, ухал и охал лед на реке, он просидел с сыном Егором над рыбацкими снастями – проверял сети, вентери (не погрызла ли мышь на чердаке-то), отлаживал, ощупывая прутик за прутиком, верши, заклеивал дырки в резиновых сапогах. В первый, второй и третий день не выплывал на лодке, а все смотрел в окно на воду, что-то там выслеживал, ждал чего-то. И лишь на четвертый день при виде того, как на спокойном зеркале воды во все стороны побежали пузырьчатые строчки, обозначившие подводный ход леща и крупной густеры, старик встрепенулся. Мало кто из завидовцев мог видеть его в такую минуту, а ежели б увидал, то не признал бы Апреля. Медлительный в движениях, в речах, в делах артельных и у себя дома, по хозяйству, более всего любивший пословицу относительно того, что тише едешь – дальше будешь, сейчас Апрель был действительно неузнаваем. Весь он как-то напряженно вытянулся, нескладная фигура неожиданно обрела стремительную легкость гончей, почуявшей близость зверя. В один миг собрал снасти и вот уже выгребал со двора в сад, ставил там одну сеть, от первой тянул далее вторую, третью, а вентери и верши увез в лес, к Кривому озеру, где было много вымоин, образовавшихся от старых дорог, углубленных полою водой и превращенных ею в небольшие овражки, – там теперь бесновалась щука.

Лес на такую пору представлял собою зрелище редкостное. Деревья, как ранние купальщики, по грудь забрели в воду и вздрагивали, то ли оттого, что озябли, то ли от страха, что могут утонуть вовсе, то ли от льдин, покинувших берега Баланды и теперь беспризорным ста-

дом разбредшихся по всему лесу, тыкаясь в стволы осины, пакленика, вяза, ветлы, карагача, дуба. Каждое дерево вело себя при этом по-своему. Осина и без листьев тряслась точно в лихорадке тонкими вершинными ветвями, жалобно постанывала; пакленик резко и низко нагибался, а затем со свистом принимал прежнее положение и тотчас же умолкал; вяз, ежели он был молод, чуть пригибался влево ли, вправо ли, уступая льдине дорогу, лениво помахивая тонкими и гибкими ветками, как бы желая страннице доброго пути; карагач лишь недовольно шуршал своею шершавой, плохо выдубленной шубой; по дубу же и вовсе нельзя было определить, касаются ли его плывущие там и сям чки¹ – гордые, величаво-спокойные и независимые, стояли дубы посреди моря воды, будто знали, что оно, море это, временное и что роптать, собственно, нечего, а надо набраться терпения недельку-другую – всего-то и делов. Вода уйдет, куда ей полагается уйти, а они останутся на своих местах, не будут торопиться и с листвою – пускай это сделают ветла, осина, тополь, а дубу-то зачем спешить, когда в запасе у него вечность? На сухих осиновых стволах всюду трудились дятлы – рассыпчатый треск слышался по всему лесу, сливаясь с криком сорок, торопившихся со строительством своих мудреных гнездовий; пестрое, перевернутое отображение дятла виделось где-то глубоко в тихой прозрачной воде, и мнилось, что дерево о двух вершинах и растет одновременно вверх и вниз, а плоскость воды – место, откуда начинается этот рост.

Если б у Апреля было время, если б хоть на минуту он занят был не своим рыбным промыслом, то, верно, обнаружил бы, что плывет не один, а под его лодкой точно такая же лодка и на ней точно такой же Апрель, только стоит вниз головою на опрокинутой лодчонке и почему-то не тонет. Но старику было не до сказочных красот. Дела земные заботили его. Пятую и, сдаётся, самую большую щуку выбросил он сейчас в свое корыто и, расправляя запутанные ячейки снасти окоченевшими, непослушными пальцами, косился глазом на рыбину, раскрывшую зубастую пасть и, кажется, собирающую остаток сил, чтобы взвиться вверх и попытаться вырваться в родную стихию. И может, ей удалось бы это, да упредил Апрель. Он вовремя разгадал замысел хищницы, наступил на нее резиновым сапогом, а когда управился с вентером, совершил еще одно страшное дело – о борт лодки переломил щуке шейный позвонок, сказав при этом в свою редкую седую бороду: «Что, успокоилась? Давно бы так-то...» На обратном пути проверил сети, а в полдень пришел в правление колхоза, обождал, когда председатель остался один, сообщил таинственно:

– Улов у меня ноне, Левонтий!

– И большой?

– Да как тебе сказать... Подходящий.

– И что же ты собираешься с ним делать?

– С кем? – не понял Апрель.

– С уловом. На базар али тут откроешь торговлю?

– Не обижай старика, Левонтий. Ай позабыл, какое время теперь? С какими бы это я глазами продавал рыбу нашим солдаткам? Чай, не зверь. И пришел я к тебе с просьбой: забери весь улов и отправляй в МТС девчатам. Голодают, слышь, они там. И прозябли все. До Панциревки-то я лодкой рыбу переправлю, а там уж пушай твой Павлик попросит у председателя ихнего лошадь, отвезет в район.

– Спасибо, Артем Платоныч! Ты вот что. Займись-ка этой рыбой всурьез. Возьми Егора своего да моего Павлушку в помощники, и ловите на здоровье. Сев скоро, надо ж бабам чтой-то в приварок. Мяса не будет, уйдет оно все как есть на фронт, красноармейцам. Так что выручай, Артем. Трудодни запишем.

¹ Чка – местное название льдины.

– Рыбу ловить буду, а трудней мне лишних не требуется. За огороды ставите две палочки – ну и доволью с меня. Все одно на них ни хренушки мы не получим, чего уж там... Давай твоего Павлушку. Кажись, он у тебя смышленный парнишка.

– Ничего. С головой шкет, – с тихой отцовской гордостью подтвердил Леонтий Сидорович.

– Известное дело, в Угрюмовых, – польстил еще более Апрель.

Леонтий Сидорович просиял внутренне, но виду не подал, сказал озабоченно:

– Сообщил мне ноне Тишка: ремонт завтра они заканчивают, а вот как пригонишь трактора? Мост у Панциревки под водой, а половодье схлынет, сам знаешь, недели через две, а то и две с половиной. А в поле можно выезжать хоть завтра: снега и в оврагах-то осталось чуть-чуть.

– А через Гайку – да бугром, полем?

– Гайка тоже не сошла. Мост там и вовсе порушен.

– Вот что, председатель, повезем мы с Павлушкой рыбу, пощупаем у Панциревки шестом, глубоко ли остался под водою мост, можа, трактору по брюхо толечко будет, тогда...

– Нет. Опасная это штука. Лучше подождать.

– А земля просохнет – оставим мы голодными и солдат на фронте, и своих детей, – сказал Апрель, тяжело глядя на Леонтия Сидоровича.

– Что же делать? – развел руками тот.

– Подумать надо. Я ж говорю – померим глубину, и там видно будет.

К Панциревскому мосту они приплыли втроем – Апрель, Леонтий Сидорович и Павлик – и один за другим по очереди сокрушенно свистнули. Не увидели не только нижней, проезжей части моста, но его перил, о последних можно было лишь догадываться по водяным бурунам, вскипающим слева и справа на одной линии, да по четырем глубоким воронкам, жадко захватывающим разный хлам и мгновенно проглатывающим его, – там, поближе к правому и левому берегам. Река успела уже наработаться всласть, у кромки ее по ту и эту сторону вздымались клубы желтоватой пены, как в пахах загнанного рысака, а немного выше дыбились кучи мокрой, черной и тяжелой куги, пахнувшей глубинной водяной сыростью, рыбой и лягушатником. Панциревские ребята прыгали на ней, как на резине, и радовались странному, неожиданному ощущению. Апрель не мог не заметить и двух мужичков, промышлявших у омута намётками нерестившуюся на его отмелях красноперую плотву. Руки его непрошенно вздрагивали, в груди накапливалась нетерпеливая ревность рыбака, лишённого возможности немедленно присоединиться к тем двум. И Апрель был даже рад тому, что первые закидки у мужичков получились холостые, а за последующими, чтоб не теребить душу, он не стал уже следить. Сказал с притворной и поспешной, выдающей его с головой озабоченностью:

– Ничего, пожалуй, не получится, Левонтий. Не пройдут тракторишки.

– А я о чем тебе калякал? – буркнул тот.

Они перебрались на панциревский берег, раздобыли подводу и отправили Павлика в район – угостить трактористок свежей рыбой. В правлении поговорили о том о сем с местным председателем и вернулись в Завидово.

Не успел Леонтий Сидорович пообедать – позвали в правление к телефону. Знакомый скрипучий голос спрашивал требовательно:

– Что думаете делать с отремонтированными тракторами?

– Подождем малость, Федор Федорович. Вот вода чуток сойдет.

– А не опоздаете с севом?

– Не должны.

В голосе Леонтия Сидоровича не было, однако, уверенности. Это уловил Знобин и еще более скрипуче прокричал в трубку:

– А вот твоя дочь не хочет ждать!

– Дура она, моя дочь, – в сердцах молвил Леонтий Сидорович.

– А говорят, она в тебя, – насмешливо прозвучал надтреснутый голос.

– Стало быть, и я дурак. Только не простой, а старый. Известное дело, яблоко от яблони...

– Ну, ты вот что, друг, не сердись. И пословица твоя мне известна – только она тут ни при чем. Скажи лучше, что будем делать? А точнее: что ты собираешься делать? Трактора-то час тому назад выехали.

– Как выехали, куда?! – испуганно закричал Леонтий Сидорович.

– К тебе, к тебе, председатель. И пожалуйста, без паники. В мирное время она плохой помощник, а в войну и подавно. Ты вот что: наскреби-ка с десятков стариков и поспешай с ними к Панциревскому мосту. Я бы и сам подскочил к вам, да в область вызывают. Боюсь, как бы вас всех подчистую у меня не забрали. Девчатам своим скажи, чтоб особенно-то не рисковали. Теперь каждый трактор на вес золота. Ну, успеха вам! Ночью позвоню из Саратова. Бывай!

Повесив трубку, Леонтий Сидорович некоторое время стоял в тяжелой задумчивости.

«А ведь это она надумала – Фенька. Ну, постой, запорю мерзавку! И Тишка, ему у баб не бригадиром, а подстилкой быть. Тряпка!» Нахлобучив шапку, председатель быстро вышел на улицу. У крыльца еще постоял, решая, кого бы первого потревожить. Ну, конечно, дядю Колю, тем более что он и сам шел к конторе.

– Что случилось, председатель? – подойдя, спросил дядя Коля. – Что-то ты того... Нос вроде повесил.

– Девчата трактора гонят.

– Они что, спятили?

– Ладно, не кипятись! Позови Апреля, Тихана, еще кого там и живо к Панциревскому мосту. Апрель доставит вас всех. Я сейчас туда двинусь. Уже вечерет. А их нелегкая понесла! Успеть бы до темноты...

Четыре колесных трактора – один «универсал» и три СТЗ – медленно двигались по разбитому, раскисшему грейдеру, сплошь почти залитому взбаламученной тракторами и автомашинами водою. Первым шел «сталинец» Фени, а замыкала малую эту колонну машина Степаниды Луговой. Рядом со Стешкой, на крыле, примостился Тишка. Маша Соловьева пристроилась в хвост Фениному трактору и старательно держалась его колеи, тотчас же заполняемой водой. Когда на дороге попадались ямы, седловины, наполненные водою, и машина погружалась по брюхо, Маша страстно умоляла свой трактор: «Миленький, родимый мой!.. Не подведи, не остановись посередине этой проклятой лужи – пропаду я, ни за что не заведу, а просить Феньку стыдно будет... Миленький, ну, ну, ну, давай, давай!» Маша невольно отрывалась от сиденья, приподымалась на ноги и так вся напружинивалась, будто помогала трактору, будто ему легче становилось, при этом газовала так, что машина чертом выскакивала из ложбины, выбросив в небо черные султаны вонючего, не перегоревшего дыма. Оглянувшись, видела, как Тишка грозил ей кулаком, широко разевал рот, шлепал толстыми губами, как в немом кино, – за трескотней моторов слов не было слышно.

К Панциревскому мосту подъехали еще засветло. Но уже синее, пока еще прозрачное покрывало сумерек повисло окрест. Вспугнутое ревом моторов полчище грачей поднялось с ближних, старых ветел и носилось в воздухе; в чистой, почти спокойной воде омута заматались черные тени. Где-то в лесу, залитом водой, раздался ружейный выстрел. Оттуда взвилась высоко в небо станица чирков, издали похожая на облако, и минутой позже с тонким, режущим темнеющую синь небес свистом пронеслась над мужиками, вышедшими из Завидова навстречу трактористкам. Дядя Коля не удержался, чтобы не дать оценки в общем-то пустячному этому событию:

– Архип Колымага пуляет, жирный кобель. Не в чирков бы ему палить. Есть теперь иная дичь. Туда б его.

– Дойдет и до него очередь, – глухо сказал Леонтий Сидорович, вспомнив про разговор недавний с секретарем райкома. Увидев, что дочь его уже подъехала к мосту и приноравлива-

ется с ходу перемахнуть по бушующему потоку на этот берег, закричал хрипло и страшно, не своим, испугавшим всех голосом: – Фенька, остановись!

Однако Феня едва ли смогла услышать голос отца, а если и слышала, то все равно ничего уже нельзя было изменить. Сотни раз проезжала она прежде по этому мосту, отлично знала его очертания; приглядевшись хорошенько с бугра, она и сейчас отчетливо увидела под водой низенькие его перила и поняла, что вода может доходить лишь на высоту передних колес, а значит, до свечей не достанет и мотор не заглохнет. Знала Феня и про другое: начни она долго размышлять, советоваться с Тишкой, с подругами и с теми, что пришли их встретить, – потеряет лишь время драгоценное, ибо все станут доказывать, что затевает она дело гиблое, что ее надо выпороть, или посадить в сумасшедший дом, или еще что-нибудь в таком же роде. А потом приспееет темнота, и ночевать придется под открытым небом (не бросишь же машины), а наутро ничего ведь лучшего не придумаешь, не ждать же целых две недели, пока вода убудет: земля не ждет, видела Феня своими глазами, как курится она паром, как быстро отдает солнцу драгоценную влагу.

Леонтий Сидорович, дядя Коля, пастух Тихан, Апрель, почтальон Максим, да еще с пяток старичков суетились на берегу, что-то кричали, размахивали руками, но Феня никого не видела и ничего не слышала. Трактор ее уже был на середине исчезнувшего под водою моста, гнал перед собою высокую и упругую волну, по обоим бокам его, впереди, там, где бешено вращались лопасти вентилятора, вскипали радужные, пронизанные закатным солнцем фонтаны; с левой стороны, откуда было течение, вода подымалась все выше и выше, и Феня, судорожно вцепившись в сделавшийся вдруг горячим под ее ладонями стальной обруч руля, немигаючи глядела на свечи: стоит захлестнуть их, и мотор умолкнет, а там... там... лучше не думать, что будет там. Теперь уже она, точь-в-точь как ее подруга Маша давеча на дороге, стала умолять, упрашивать свой трактор: «Миленький, родненький мой, поскорее же, поскорее!» – и так же, как Маша, привстала, приподнялась над сиденьем, вытянулась в струнку; по лицу ее, наполовину закрытому растрепавшимися темными мокрыми волосами, бежали струи – и не поймешь чего: пота ли, воды ли, распыленной и разбрасываемой вентилятором, слез ли, исторгнутых сжавшимся на какой-то там миг сердечком. Внутри все похолодело, когда увидела, что вода проникла уже под сиденье, что через короткие голенища сапог потекли ледяные струи. Но, глянув на резко поднявшийся вверх радиатор, она поняла, что это спасение, машина подымалась вверх, вон уже передние колеса покатались по песчаному берегу. Обрадовавшись до крайности, Феня до предела выжала газ, и трактор, кашлянув раз и два, шустро выбежал наверх, на ровную дорогу.

Мужики, шарахнувшись было в стороны (задавит сослепу-то чумная бабенка!), теперь окружили трактор, роняющий на дорогу капли радужной от керосина и солидола воды, по-прежнему кричали что-то Фене, и она по-прежнему не слышала их. Теперь уж определенно счастливые слезы текли по ее лицу, и она, будто и вправду чумная, громко хохотала, уронив голову на баранку руля.

Разрядившись таким образом, быстро соскочила с трактора и побежала к мосту:

– Маша, чего же ты? Давай!

Но, бойкая в иных делах, тут Маша проявила несвойственную ей осторожность. Сперва она сделала вид что не слышит подругу, а потом все-таки откровенно и прямо призналась:

– Боюсь я, Феня. Вот, можа, Степанида, а потом уж и я.

Степанида Луговая не стала ждать, что скажет ей Тишка, который все еще сидел на крыле ее машины, включила первую скорость и медленно пошла к мосту. До этого она напряженно наблюдала за Феней и учла ее промашку: Феня решила преодолеть водное пространство на второй, более высокой, скорости, и то был неразумный в общем-то риск – высокая скорость вызывала большую ярость водного потока, и от одного этого мотор мог заглохнуть. Степанида же спокойно скатилась на мост, прошла по нему как бы ошупью и прибавила газу только тогда,

когда передние колеса достигли противоположного, завидовского, берега. Ее переход был столь удачен, что ни председатель колхоза, ни те, что пришли сюда вместе с ним, ни Тишка уже не сомневались в благополучном исходе всего более чем рискованного предприятия. Холодные, свинцового отлива, тяжелые глаза Леонтия Сидоровича на мгновение потеплели.

– Ну что же, дочка, – крикнул он Соловьевой, – давай и ты! А ты, Тимофей, на «универсал» пересядь. Сам поведешь. Настенька – совсем еще дитя малое. Куда ей...

Маша, перекрестившись, пробормотала про себя молитву, которую давно уже забыла и теперь вспомнила с пятого на десятое, невзначай включила сразу третью скорость и не успела опомниться, как трактор оказался где-то посреди моста, вздыбив высоченные гребни воды. Выжав резким нажимом ноги муфту сцепления, Маша остановила трактор, начала туда-сюда дергать рычажок переключения, но он заклинился; советы, послышавшиеся с обоих берегов, не могли помочь ей; вконец отчаявшись, Маша громко и откровенно разревелась и в смятении так толкнула рычажок, что включилась задняя скорость и машина, пятась, ткнулась задом в невидимые перила, легко сломала их и вмиг с тяжким уханьем погрузилась в воду – так, что был виден теперь лишь глушитель выхлопной трубы. Маша успела, однако, по обезьяньи цепко ухватиться за сучок раскинувшейся над водой старой ивы и повиснуть на нем. Ей с великим трудом удалось найти опору на другом толстом сучке и для ног, и теперь, прилипнув к стволу дерева мокрой телогрейкой, она дала уж полную волю своим слезам; рыдания молодой солдатки перемежались проклятиями по адресу подруги, заманившей ее, Машу, в эту ловушку. Обида была тем более велика, что Феня же лучше других знала, какой из нее, Машухи Соловьевой, тракторист, и документ-то на курсах ей выдали, взяв грех на душу, потому как на экзаменах, если говорить правду, ни на один вопрос преподавателей Соловьева не ответила. (Они, конечно, пытались выручить ее, давали множество наводящих вопросов, но, видя ее полную беспомощность, сами же и отвечали на эти вопросы...)

Феня, ахнув, кинулась было в воду, но Апрель успел подхватить ее своими железными, цепкими пальцами за ошкур ватных штанов и выбросить на берег.

– Куда те нечистый понес! С ума спятила!

В десяти шагах вверх по течению у него была привязана лодка. Апрель подбежал к ней и вскоре был уже возле Маши. Помогая ей спускаться, с притворной строгостью бормотал:

– Ишь куда те занесло! Эт ить и кошка так-то скоро туда не вскочит. Как только тебя угораздило?

– Жить-то, чай, хочется. Молодая я, – отвечала Маша, все еще судорожно всхлипывая. – Что же, дедушка, судить теперь меня будут, а?

– Судить? – удивленно переспросил Апрель. – Это за что же?

– Трактор-то сгубила.

– Гитлера будем судить, дочка, – очень тихо и очень серьезно сказал старик.

Апрель еще не подплыл вплотную к завидовскому берегу, как Маша подхватилась, выпрыгнула прямо в воду, несколькими прыжками достигла земли и побежала к селу.

– Беги за нею, Фенюха, – сказал Леонтий Сидорович. – Трактор твой Тишка пригонит. «Универсал» до утра постоит. Попрошу панциревских, чтобы надглядывали. А ты беги, не ровен час...

Уже в селе Феня узнала – сообщили встретившиеся женщины, – что Маша Соловьева побежала прямо к ним, к Угрюмовым. Еще в сених услышала, что в избе их стоял сплошной вой. Три женщины, две старых и одна молодая, рыдали в голос, а с печки им помогала тонюсеньким и жалобным всхлипыванием Катенька. На какое-то очень короткое время Феня вспомнила про своего сына, обрадовалась, что его нет тут, что он у тетеньки и не слышит бабьего завывания и что всю посевную пробудет там, тетенька обещалась поддержать его при себе. «Милая, родная-преродная тетенька, как бы я была теперь без тебя?!» – думала Феня.

Кое-как успокоив женщин, Феня только теперь обнаружила, что причины горестных слез у всех были разные. Маша ревела от обиды, от страха за возможное наказание из-за потопленного трактора. Тетка Авдотья час тому назад получила извещение о том, что ее сын Авдей пропал на войне без вести. Услышав об этом, Феня коротко застонала и, белая как стена, тяжело опустилась на лавку. Устало, медленно оглядев всех, остановилась взглядом на матери, спросила хрипло:

– Ну а ты-то что, мам?

Мать с удивлением подняла на дочь красные, мокрые глаза, обиженно сказала:

– Как это что? Ты ить и не спросишь, жив ли твой братец-то. Тебе, видать, чужие дороже...

– Мама! – закричала Феня таким страшным голосом, что Аграфена Ивановна тотчас же оборвала свою речь. И Феня, видя, что перепугала мать до смерти, уже тише, добрее спросила: – Что с Гришей?

Обиженно поджав губы, мать какое-то время молчала, потом сообщила:

– Вторую неделю нет писем. – И губы, и щеки, и все сухонькое тело Аграфены Ивановны опять затряслись от подымающегося рыдания.

– Ну, мама... Половодье ведь, почту-то не привозят.

В другое время Аграфена Ивановна могла бы возразить дочери, она бы вспомнила, что в словах ее нету правды, ибо тетка Авдотья получила худую свою бумагу не вчера, не позавчера, а сегодня, час тому назад принесла ее Елена Рябая.

Аграфена Ивановна ухватилась за дочерины слова как за единственно нужные ей в ту минуту и, всхлипнув еще раз, досуха вытерла глаза, которые теперь чуток посветлели и как бы уж начинали жить.

– Скажи, Фенюха, судить меня будут ай как? – спросила Маша.

– Чего ты выдумала! – зло прикрикнула на нее Феня. – Завтра подцепим тросом и вытащим твой трактор – только и делов. А ты – судить.

Они ушли в горницу, разделись, легли в мягкую Фенину постель, крепко обнялись, и тут Маша вскоре заснула. Феня же, боясь потревожить подругу и высвободить из-под ее отяжелевшей вдруг головы свою онемевшую руку, не спала, тревожно смотрела в потолок, и глаза ее были сухи. Она лежала и горько, с обидой думала про то, зачем это судьба так жестоко поступает с нею, двадцатилетней, никому не сделавшей зла, желавшей себе и всем людям на свете одного лишь счастья? Отчего? Чем прогневала она, девчонка, судьбу? После гибели Филиппа Ивановича, хоть Феня ни за что на свете не призналась бы в этом, у нее все-таки жила глубоко припрятанная в сердце, хрупкая, пускай еле ощутимая, но все-таки надежда – Авдей... Теперь и ее она лишилась...

Так и не заснув, Феня разбудила Машу ни свет ни заря, со вторыми петухами. Долго и настойчиво стучались в окна и двери бригадировой избы, пока не выжили Тишку из теплой жениной постели. Хозяин откинул изнутри крючок и в черном зеве двери четко обозначился в белых своих исподниках и белой рубахе. Похоже, надеялся увидеть в ранний этот час кого-нибудь из мужиков и потому не натянул штанов.

– Иди оденься, а мы во дворе обождем.

– Подняла вас нелегкая... – буркнул Тишка.

Слышалось, как в кухне он что-то объяснял ревливой и недоверчивой жене, как от полусшепота они перешли на крик и как в конце концов хозяину пришлось прибегнуть к более сильным выражениям, единственно способным охладить ярость не в меру разбушевавшейся супруги. Выйдя к трактористкам, перекипая все еще праведным гневом и будучи совершенно уверенным в том, что они слышали происходившее в доме, как бы подводя итог только что закончившейся словесной баталии, промолвил с неподдельной искренностью:

– Не из ребра адамова вас, бабы, Бог исделал...

Солдатки расхохотались. Маша Соловьева сказала:

– Видать, здорово она тебя, Тиша!

– Здорово, ничего не скажешь, – подтвердил Тишка. Помолчав, спросил: – А вас кой черт поднял в эту рань?

– Тиша, милый! – горячо заговорила Феня. – Трактор надо как-то вытаскивать. Не дай бог нагрянет днем милиция, прокурор. Акты, допросы, следствия. Засудят девку! Тиша, роденький!

– Ладно, ладно. Не тараторь. Бегите заводите твой, Фенька, трактор, да и Степаниде передайте, чтоб тоже на своем к мосту подъезжала. А я трос поищу. Где-то у меня в сарае припрятан. Покамест больше никого не булгачьте. Лишние советчики нам ни к чему.

– Трос и у меня и у Стешки есть.

К утру вода чуть убывла; кроме глушителя, теперь виднелась и часть трубы, и баранка руля. Тишка, Феня, Маша и Степанида ходили по берегу и никак не могли приступить к делу. Пробовал Тишка подплыть к трактору на челноке, оставленном ввечер Апрелем, глубоко погрузил руку, отыскивая, за что бы зацепить трос, но до рамы и до крючка не мог дотянуться, к тому же вода была так студена, что руки мгновенно коченели.

– Дай-ка, Тиша, я попробую, – сказала Феня и прыгнула в челнок. Никто не успел опомниться, а она уже выгребла к утопшему трактору, накрепко привязала лодку к дереву, на котором вчера по-обезьяньи повисла бесталанная ее подруга, опробовала ногами устойчивость челнока. Все смотрели на нее и будто не понимали, что она собирается делать. Лишь когда Феня прыгнула в воду и оказалась в ней по самую шею, всех точно кнутом хлестанул режущий крик Маши Соловьевой:

– Феня-а-а!!!

Тишка не мог даже кричать. Он суетился на берегу, размахивая руками, и накопившаяся в груди брань буйно прорвалась у него только в момент, когда Феня вновь взобралась в лодку. Она слышала крики женщин и бригадирскую ругань, однако знала, что самое лучшее и верное в ее положении – это ни на что не обращать внимания, а быстро и, главное, спокойно делать задуманное дело. Сбросив шерстяной платок, она опять погрузилась в воду, и на этот раз – с головой, утянув туда и конец толстого проволочного троса.

– Феня-а-а!!! – вновь хлестнуло по воде, но это было уж совсем ни к чему, под водою голос Маши не был слышен.

Простоволосая, тяжело опрокинула Феня свое тело в лодку, долго глядела в светлеющее небо, набираясь сил. С трудом поднялась затем на ноги, не спеша отвязала лодку и, отталкиваясь длинным шестом, поплыла к берегу. Вбежавшие прямо в воду Тишка, Маша и Степанида подхватили, вынесли ее на берег. Женщины принялись целовать в посиневшие, дрожащие, холодные губы, в такие же ледяные щеки. Феня вяло сказала:

– Я пойду. Как бы того... не простудиться. Трос-то я гоже закрепила. Вы только кустарник подрубите да сройте крутой берег, а то не вытащите.

И быстро пошла в сторону Завидова. Потом оглянулась, попросила:

– Маша, а ты забеги потом!

Аграфена Ивановна, не успев даже испугаться по-настоящему, постаскивала с дочери мокрое, помогла взобраться на печь, закутала ее там в сухое, горячее тряпье, пахнущее знакомой с детства поджаренной пылью, и, только дождавшись, когда Феня перестала дрожать и стучать зубами, принялась причитать. В короткие промежутки между аханьем и оханьем успела все-таки сообщить, что отца вызвали в правление к телефону, и вот уже другой час, как его нет и нет, а испеченные давно блины стынют, и баньку бы надо протопить для Фени, пропарить хорошенько, – глядишь, Бог и милует, не простудится.

– Как бы в район не укатил. Там, чай, переполох теперя... – сказала Феня.

В район Леонтий Сидорович не укатил, но переполох там действительно подняли большой. И к телефону Леонтия Сидоровича пригласил сам прокурор. И очень подробно расспрашивал, как потонул трактор. А когда председатель поведал обо всем, на том конце провода строгий голос спросил:

– Ну и как вы думаете, по чьей же вине?

Леонтий Сидорович промолчал.

– По чьей, я вас спрашиваю? – закричала трубка.

Леонтий Сидорович отвел ее от уха, зачем-то посмотрел на другой ее, точно бы в оспинках, издырявленный конец, поднес близко к губам, сильно дунул и лишь потом четко, с нужной в таких случаях паузой меж слов, громко сказал:

– Виновата моя дочь.

– Феня?

– Она... Она показала дурной пример.

– М-да... Ну хорошо! – И где-то далеко щелкнул рычажок, на который была брошена трубка.

– Тебе-то, может, и хорошо... – Леонтий Сидорович все еще держал трубку в руке и чувствовал, как она словно бы потеет.

Рев моторов отпугнул невеселые думы, председатель выбежал на крыльцо и увидел, как два трактора, запряженные цугом, волокли за собой третий, с которого продолжала капать радужная водица. За рулем его гордо восседал Тишка с приклеенной к нижней губе самокруткой и улыбался по-детски счастливой улыбкой.

– Мать честная, вытащили! – закричал Леонтий Сидорович. – Степанида! Машуха! Стой!

Стешка резко остановила трактор, так что Маша едва не наехала на нее.

У председателя не хватило терпения на то, чтобы выслушать доклад Тишки. В одно мгновение вернулся он в правление и начал отчаянно крутить рукоятку телефона. Рядом в ожидании стояли трактористки и тихо улыбались.

Однако прокурора на месте не оказалось. Он ушел к первому секретарю райкома, и теперь, вооруженный сведениями из самого что ни на есть первоисточника, сообщал обстоятельства завидовского дела. Федор Федорович в продолжение всего доклада ни единым словом ни разу не перебивал прокурора и кивком головы как бы даже поддерживал его доводы. Оставалось выслушать решение, которое намерен принять прокурор.

– Дело, Федор Федорович, яснее ясного. Трактор в канун самой посевной... в канун первой военной весны, когда каждая машина... Одним словом, трактор погиб.

– Погиб?

– Да, погиб. И погиб по вине председателевой дочери. И естественно, она должна нести ответственность по законам военного времени.

– Естественно, – повторил Федор Федорович и поморщился. – А вы с нею говорили?

– Я говорил с ее отцом.

– Ну и что? Что отец?

– Угрюмов сам сказал, что во всем виновата его дочь.

– Так. Ну а как вы думаете, зачем она торопилась?

– Не знаю. Говорят, ребенок у нее малый в Завидове.

– Что ж, и тут можно было бы ее понять. Только это неправда, товарищ прокурор. Сына своего эта женщина оставила здесь, в районе, у родственницы. Итак, что же ее толкнуло на безрассудный с логической точки зрения шаг? Ну-с? Молчите? Так-то, дорогой мой! Ну, вот что. Вы продолжайте расследование, и об одном вас прошу самым настоящим образом: не торопитесь с выводами. Подумайте. И тоже... по законам военного времени. – И вдруг широко, как-то по-домашнему, по-свойски улыбнулся, голос помягчел, утратил неприятную скрипучесть: – Женщин-то беречь надо, голубчик! Еще годик повоюем, одни только они с малыми

детьми да старики останутся на селе. А ты – судить! Эх, голова, голова! Ну, ну, не дуйся. Иди, расследуй. Я б на твоём месте в Завидово все-таки съездил. Или погоди завтрашнего дня – поедem туда вместе.

Пока говорились эти слова, в самом Завидове дела шли своим порядком. Пострадавший трактор к вечеру был разобран, раздет до последней возможности, и теперь детали его, обсохшие за день на солнце и тщательно промытые в керосине, лежали на подстилке в сарае: все было приготовлено, чтобы с завтрашнего утра начать сборку. За то время, пока трактористки возились с машиной, Леонтий Сидорович вместе с главным сейчас своим помощником по дому, Павликом, жарко протопили баню. И теперь окончательно пришедшая в себя Маша Соловьева охаживала взобравшуюся на полок подругу хорошо распаренным, крепко пахнущим веником.

– А ну, поворачивайся! Вот так, так! Еще, еще! Так, так! Грудь-то руками прикрой, а то исполосую, любить мужики не будут! Ну, ну, еще немного! Не ори! Спасибо потом скажешь!

Феня ворочалась, задыхалась нагнетаемым с каменки обжигающим воздухом.

– Ничего, ничего, девонька! Постеля-то у нас теперь холодна, хоть тут погреемся! Ух ты! Кажись, и я умаялась! Ну, будя с тебя, слезай, недотрога! Ох и худющая ж ты стала, Феня, на одних бедрах только и остался чуток мяса, а то кожа да кости. На такую ни один мужик и глазом не глянет.

– А мне и не нужны твои мужики, – проговорила Феня, с величайшим блаженством развалившись на скользком полу, как бы куда-то уплывающем из-под ее горячего, распаренного тела.

– А я вот – ты уж не осуди, подруга милая, – грешна. Федька-то мой... Ну сколечко мы с ним пожили вместе? Неделю одну. Растревожил, а утешить вволюшку и не успел. Боюсь, не дождуся его, изменю.

– И тебе не стыдно говорить такое, хабалка ты этакая?!

– А лучше разве, коли я тайком от тебя?

– Выбрось из головы это. Комсомолка!

– Комсомолка разве не баба? Разве не живой человек?

– Да ну тебя! – отмахнулась Феня и, поднявшись, взялась за веник. – Полезай-ка теперь ты. Я из тебя сейчас дурь-то выбью!

Глава 10

Максим Паклѐников разбирал на кухонном столе очередную почту. Треугольники у него ложились в одну сторону; с обратными адресами из тыловых городов – в другую; а в особую кучку – те, где посланный скрыт за безымянной полевой почтой.

Сложив первую и вторую кучу конвертов в кожаную разносную сумку, над третьей остановился в тягостном раздумье.

За последний год Максим научился безошибочно определять, в каком конверте какая бумага заключена. Красноармейские самодельные треугольники радовали его старые глаза и веселили душу: жив служивый, и об этом сейчас узнают в его доме, и будет под крышей этого дома праздник великий; на ту пору Максим еще не думал про то, что пока дойдет солдатское письмо, самого-то солдата, может быть, уже и в живых не будет. Охотно разносил он письма и из второй кучи, менее желанные, правда, но зато без горькой начинки, или, во всяком случае, не самой горькой; хотя случалось, что и в этих кто-нибудь из дальних или ближних родственников, в некие времена покинувших по разным соображениям Завидово, сообщал селянам о гибели сына или племянника своего – по большей же части в таких конвертах содержалась просьба сообщить, живы, здоровы ли сродственники, а заодно давались последние сведения и из своей семейной хроники. Как бы там ни было, но и эту корреспонденцию Максим Паклѐников вручал в тот же день, без промедления.

А вот над третьей стопкой всегда призадумывался: нынче ли доставить или погодить?

Только позавчера в пяти домах были получены такие конверты; в одном из этих домов, у Катерины Ступкиной, побывали казенные бумаги уже дважды, и теперь он должен нести третью.

Когда доставлял предыдущую, Максим не решился отдать ее в руки Катерины. Он постучался, приоткрыл дверь, просунул конверт, да и бегом со двора. На улице его настиг-таки разрывающий душу вой...

Тяжко, до хруста в груди вздохнул почтальон, позвал жену:

– Ты, Елена, вот что... Ты сама разнесешь вон энти. Выручай, мать. Силов моих больше нету. Меня во дворах и собаки рвать уж начали. А бабы глядят еще лютее, как на Гитлера, будто я виноватый. Так что ты уж, слышь, сама, мать... С тобою-то им полегче маненько будет. Поплачете, поревете вместе – глядишь, оно и...

К вечеру пришел в правление – и напрямик, без всяких предисловий:

– Левонтий, увольняй. Не могу боле. Посылай на любую работу: конюхом, быкам хвосты крутить, из-под свиней назем чистить – куда хошь. Разносить те бумаги боле нету моей моченьки. Меня солдатки скоро вилами заporют – что с них возьмешь! Так что...

Максим в удивлении остановился. Долго приглядывался, пытаясь понять, что же это такое сотворится с Левонтием. На его, Максимовы, слова председатель и ухом не повел, а втолковывает что-то озабоченному и присмирившему дяде Коле.

– Левонтий, чего же ты молчишь?

– Да погодь ты, Максим Савельич! Не видишь – занят: дела вот Николаю Ермильчу передаю. С ним потом и будешь решать твои неотложные, а сейчас потерпи чуток.

– Это что же... Неужто и тебя?

– А ты как думал? Гляди, дед, как бы и твой не пришел черед! Слышал, поди, куда немцы-то притопали?

– Слышал, – потерянно обронил Максим. – Как же это, а, мужики? А сказывали, что Красная армия сильнее всех. И в песнях так играли и в кинѐ, а? Что же это, как же? К Дону, вишь, подкатил тот немой. Шутка ли?

– Не ной ты, Максим, и не мешай нам.

Обиженный вконец неучтивостью Леонтия Сидоровича, почтальон вышел на улицу. Решил, что сейчас самое бы время поврачевать душевные раны у молодой солдатки Маши Соловьевой, с недавних времен приладившейся гнать самогон. Феня и стыдила подругу, и страшила, и на комсомольском собрании слушалось Машино «персональное дело», да не помогло. Бесталанная во всех иных отношениях, Маша оказалась в высшей степени практичной в устройстве малых своих житейских благ в самое трудное военное время. На Фенины укоры решительно и со злою усмешкою ответила:

– Ты меня, Фенюха, не учи. Ученого учить – только портить. Чалишь на своем горбу дрова из лесу – ну и чаль на здоровье. А я не буду. Архип Архипыч Колымага нарубит да сам и привезет на мой двор на своей же лошади. За какую-нибудь одну поганую бутылку первача.

– За одну ли? – Губы Фенины дрожали.

– Ну, может, за две, – как ни в чем не бывало с веселым, злым торжеством продолжала Маша. – А тебе что, жалко?

– Послушала бы, что люди про тебя говорят.

– А мне наплевать.

– Иной нальет свои бесстыжие зенки, да и будет хвастаться промеж мужиков, как ты его потчуеть и винцом и...

– Что, ай завидки взяли?

– Дура ты беспутная, Машка! Федор вернется, узнает – что тогда? Ты подумала?!

– Это уж не твоя печаль.

– Может, и моя. – Феня сказала эти слова тихо, почти шепотом, но так, что Маша испугалась, что-то дрогнуло у нее, ткнулось под сердце остро и горячо.

Она кинулась к подруге и заговорила часто, с надрывом:

– Прости меня, Феня, язык мне надо вырвать за мои слова! Не слушай ты меня! Неужто ты поверила? Нужен мне тот Колымага! Дрова привозит – это правда. А боле ничего. Не могу я сама, не привыкла. Когда был жив тятя, баловал – ведра воды не давал принести самой... И вообще – так ведь не дозовешься ни одного старика. А покажешь стакан – он тебе, бородач, и плетень подымет, и ворота починит, и хлев к зиме поправит. У тебя отец, мать не старуха еще, братишка Павлик, а я одна. Мы на собранье комсомольском горазды друг дружку критиковать, а вот бы сговориться и помочь кому всей организацией – этого у нас нету. Вот что я тебе скажу!

– Ну, хватит. На фронте не была, а вон как ловко от обороны перешла в наступление. Ты все-таки поаккуратней будь с мужиками. Болтуны они, ославят.

– Ну, этого я не боюсь. Нынче путайся не путайся с кем – все едино наговорят семь верст до небес. Ты думаешь, про тебя ничего не сказывают?

Феню точно кипятком обварили:

– Что, что про меня? Не выдумывай, слышишь?!

– Ишь как тебя перекосило! И пошутить уж нельзя...

– Нет уж, ты боле так не шути.

– Злющая ты, Фенюха, ноне. Что с тобой?

Феня не ответила. И разговор их на том и окончился. Маша по-прежнему, совершенно не таясь, гнала самогон, приносила иной раз его в поле, угощала бригадира, а тот – услуга за услугу – садился на ее трактор и «ургучил» за отчаянную самогонщицу полсмены, а ежели была ночь, то и всю смену...

Максим Паклѐников, как и весь малочисленный теперь мужской род Завидова, не раз причащался на Машином подворье, и хорошо знал, где хранилось у нее зелье, и мог бы без труда проникнуть в это самое хранилище, потому как ни одна дверь в избе, в погребнице, в чулане ли давно уже не запиралась на замок – воры, какими в прежние времена славилось Завидово, с неких пор перевелись вовсе: оттого ли, что красть в общем-то было нечего, оттого ли, что народ сознательнее стал, а может, от того и другого одновременно. Почтальону сейчас

вот ничего не стоило проникнуть в Машухин чулан, перевернуть кадушку и обнаружить под нею трех-четвертную бутылку, да и угостить себя во славу господню. Однако ж старик не пошел в центр села, где в вишневом закуте пряталась избенка Соловьевых (Федя был пятым сыном у отца с матерью, и потому его охотно отпустили к Маше, которая и расписаться-то с ним не успела, так и осталась Соловьевой). Но и отказаться совершенно от мысли побаловать себя чаркой-другой почтальон уже не мог. Присев на ступеньку правленческого крыльца, Максим попытался не спеша – куда ему торопиться? – оценить обстановку. Скоро он даже просиял весь от внезапно озарившей его догадки. Не может того быть, чтобы сдача дел закончилась у Леонтия Сидоровича и Николая Ермиловича одним лишь этим вон сидением над колхозной канцелярией! Должна же она найти законное завершение в доме либо самого председателя, либо его приемника! И ежели поднабраться терпения, подежурить тут, на этом вот приступке, глядишь, чего-нибудь и высидишь.

– Размышляя, почтальон не забывал поглядывать и на улицу, не упадет ли его глаз на что-либо заслуживающее внимания. Скоро его наблюдения увенчались открытием исключительно важным: Максим приметил, как со стороны реки проулком вынырнул на улицу Апрель с ведром, прикрытым лопухом, и по-над самыми домами быстро пошагал в правую от наблюдателя сторону. Максим даже привстал, предельно вытянув шею, чтобы до конца уж проследить, куда это путь держит старый рыболов, и радостно, победно как-то хохотнул, когда увидел, как длинная нога Апреля лягнула дяди Колину калитку.

– Вот оно какое дело, – прошептал почтальон и весело похлопал себя по коленкам.

И когда Леонтий Сидорович и Николай Ермилович вышли из правления, молча пристроился тенью к одному из них и проследовал прямо во двор Крутояровых, куда, как он теперь знал, еще раньше пробрался со свежим уловом карасей Апрель. К появлению хозяина и еще двух его гостей рыба была уже поджарена и теперь дымилась посреди стола на черной сковороде. Апрель стоял возле раздумявшейся у печки хозяйки и, счастливый, загадочно улыбался. Максим при виде жареной рыбы не смог удержаться, чтобы не воскликнуть:

– Ну и ну!

Его, однако, очень удивило отсутствие другой посуды на столе. Впрочем, вскоре он и сам совершенно забыл о ней, поскольку разговор сразу же пошел о делах колхозных, о фронте, неотвратимо приближающемся к их приволжским краям; побранили неверных союзников, посуливших второй фронт, но так до сих пор и не открывших его; вспомнили про первую германскую, ибо все были ее участниками. Хозяин сказал при этом:

– Тогда солдаткам нашим было еще горше, чем теперь. Никому до них никакого дела не было. Живи баба одна, как знаешь и как хочешь. Ни тебе председателя колхоза, ни тебе бригадира, с которых можно что-то потребовать, ни тебе сельского Совета, куда можно пойти, по крайности, и пожаловаться, ни тебе парторга-заступника. Никого – одна со своею бабьей нуждой. Кругом одна. А теперь совсем другое дело. К тому же как-никак они, солдатки, сейчас все вместе. На миру, известное дело, и смерть красна.

– Знамо дело... – Апрель потянулся было за новым карасем, но на полпути к сковородке остановился, обвел сидящих за столом многозначительным взглядом, и все поняли, что он собирается сказать что-то очень уж важное, потому и примолкли в ожидании.

Апрель между тем прокашлялся, как бы прочищая голос, глянул еще раз на стоявшую у шестка хозяйку и только потом заговорил:

– Слышали, мужики, наши саратовские земляки самолеты да танки на свои сбережения покупают для фронта? Головатый Фе... Фо... имя его мудреное какое-то, без чарки и не выговоришь...

– Ферапонт, – подсказал Леонтий Сидорович.

– Вот-вот, о нем это я. Так вот этот самый Фернапонт Головатый...

– Что же ты предлагаешь? – спросил дядя Коля.

– А вот что. Ни ты, ни я, ни Максим, ни Левонтий, которого завтра уже не будет на селе, понятное дело, танк или там самолет в одиночку не огуревает – кишка тонка. А ежели всем миром – глядишь, и осилим. Как вы, мужики? Негоже нам в хвосте плестись. Ну как? – Апрель, воодушевляясь все более, вертел головой, стараясь понять, как принято другими его предложение. И видя, что мысль его легла всем на сердце, начал быстро развивать свою идею: – Назовем мы наш танк «Красный завидовец» и направим в самую что ни на есть лучшую гвардейскую часть. Ну как, мужики, а? – вновь вопрошал разгорячившийся огородный бригадир.

– Дело говорит Артем, – подытожил Леонтий Сидорович. – Надо только собрание провести. Заодно там и насчет коров хозяйских вопрос поставить. С тяглом прямо хоть плачь. А относительно танка я сам поговорю с райкомом нынче же, посоветуюсь, как такие дела делаются.

Дядя Коля шумно вздохнул:

– И все-таки обидно. Ведь так-то уж надеялись мы на армию нашу Красную, а оно вон как обернулось...

– Ну, ну, только без паники!

– Это ты кому, мне говоришь, Левонтий? – не на шутку обиделся хозяин. – Моряку? Ежели хочешь знать, я бы и сейчас мог пойти добровольцем на позиции и лупил бы фрицев не хуже молодого. Так что...

– Не про тебя я. Баб не пугайте.

– Ну, наших баб не испугаешь.

– И все ж таки.

Сковорода давно уж была забыта. Так и не притронувшись больше к угощению, взволнованные, поднялись из-за стола. Уже на улице Максим Паклёников пропел вполголоса – похоже, специально для Леонтия Сидоровича:

Вот тебе рубашка,
Вот тебе штаны,
Вот тебе баклажка
С левой стороны.

Закончив куплет, спросил, обращаясь уже к обоим – к Угрюмову и Апрелю:

– Небось помните эту песенку? Пели ить мы ее, когда на первую германскую отправлялись.

– Как не помнить, – сказал Леонтий Сидорович.

– Когда же уходишь?

– Завтра.

– Н-да-а, – протянул Максим. – Останемся мы тут одни калеки, бабье да детишки. Выдюжим ли?..

Леонтий Сидорович не сразу вошел в дом – задержался во дворе. Без всякой цели заглянул в один хлев, в другой, вышел на зады, в огород и там послонялся без видимой причины, хотя причина была: вплотную приблизилась минута, которой он, сильный и суровый человек, страшно боялся, – сейчас он должен будет сообщить Аграфене Ивановне о своем завтрашнем уходе на войну. Повестка пришла вчера, но никому в своем доме он не сказал о ней. Дальше, однако ж, тянуть нельзя. Но он все-таки тянул, ходил, слонялся вот по двору да по огороду – отпугнул сердитым окриком соседского теленка, норовившего перемахнуть через плетень, запустил камнем в петуха, взгромоздившегося на колодезный сруб и встряхнувшего было крыльями перед тем, как закукарекать, – кочет кудахтнул в недоумении и, вытянув шею, помчался прочь с огорода. Леонтий Сидорович поглядел вокруг еще и еще раз и, не найдя того, на чем

или на ком бы можно отвести стесненную душу, решительно направился к крыльцу. У порога, как всегда, когда был в тревоге или не в духе, энергически высморкался и, не давая себе ни минуты на то, чтобы еще что-то там придумывать, громко, с видимым спокойствием в голосе сообщил:

– Мать, ты дома, что ли? Собери-ка мне бельишко. Завтра поутру...

Аграфена Ивановна не дала ему договорить. Она выскочила из-за печки, вместе со стоном из груди ее сдавленно и трудно вырвалось:

– Господи, да что же это!

– Не реветь! – прикрикнул он. – Слышишь, чтобы не реветь!

Жена умолкла, сторбилась и, прикрыв лицо ладонями, побрела в горницу. Ничего не понимающая Катенька, вбежав в переднюю, забралась на сундук и глядела на мать большими своими глазами. Мать прижала ее к груди и тяжело опустилась на табурет. Сидела так долго, потом поцеловала младшенькую, уложила спать, а сама вернулась к сундуку.

Скоро Аграфена Ивановна вышла в заднюю комнату, сказала мужу, молча сидевшему на лавке и дымящему папирсой:

– Собрала. Поесть хочешь, что ли?

– Нет, не хочу. А где Павлик?

– В поле, на прицепе у Фени.

– Фенюха вернется нынче?

– Должна.

– Ну ты... вот что, мать... Не кручинься уж очень-то. Не одна остаешься... Да и мы с Гришей... Ну, ну... Кончится же когда-нибудь эта война... Придем, ничего с нами не случится.

Фене – она вернулась поздней ночью – наказывал:

– Ты тут за главного теперь, дочка. Гляди помогай матери. Павлухе воли не давайте. Да и сына-то забрала бы от тетеньки. Будьте уж все вместе. Помогут, коли трудно будет. Свет не без добрый людей. Ежели уж немоготу будет, кликни Николая Ермилыча. Он хороший старик.

– Ясли бы детские открыть.

– Вот и скажи про то Николаю Ермилычу. Да помогите ему. Хотя... Хотя я сам ему скажу об том. Пойду разбужу, есть у меня к нему еще разговор.

Леонтий Сидорович ушел. Аграфена Ивановна воспользовалась этим и, присев у дочерней постели, тихо заплакала. Феня не утешала, не уговаривала ее – у самой было каменно на сердце. По дороге домой забежала к Авдотье как бы справиться, не нуждается ли в чем одинокая старуха, а на самом деле для того, чтобы узнать, нет ли еще каких вестей об Авдее. Ничего нового не было. Феня достала из-за образов давно полученную бумагу, прочитала ее несколько раз кряду, положила на место и молча вышла во двор. У ворот она почувствовала, что голова пошла кругом, а земля стала опрокидываться. Падая, она успела ухватиться за вереву, обняла ее и так в обнимку с жесткою дубовой лесиной стояла до тех пор, пока в голове не прояснилось. На сердце же как лег камень, так и лежит до этой вот минуты. Тихо всхлипывая, мать дивилась черствости и безучастности дочери в такой полынно горький час – на фронт уходил поилец и кормилец семьи.

Ночь была лунная. Призрачный свет проник через окно и плашмя лег на середину избы. На светлое, серебристое это пятно откуда-то из мрака выкатился сначала клубок черных шерстяных ниток, а за ним уж такой же черный, чуть побольше клубка котенок и заиграл, закрутился на светлом пятнышке, посверкивая пронзительно-зеленым тревожным огоньком глаза. Феня прикрикнула на него, и тотчас же укатились во мрак – и том же порядке – сперва клубок; за ним котенок; слышалась только их возня где-то под кроватью.

Аграфена Ивановна уже не плакала, лишь время от времени тяжело вздыхала. Потом неслышно поднялась, опять подошла к сундуку, долго рылась там, отыскивая что-то. Наконец

нашла и вновь присела у дочернего изголовья. Зажгла свечку. Попросила слабым, больным голосом:

– Почитай-ка.

Феня взяла бумагу, которая побывала в ее руках, верно, десяток уж раз. Не заглядывая в текст, поскольку знала его наизусть, начала негромко, но внятно читать:

– *«Дорогие мои тятя, мама, Феня, Павлуша, Катенька и Филипп-младший! Сообщаю, что я жив, здоров, чего, разумеется, и вам всем желаю. Мне совсем хорошо, потому что определили нас в минометную роту вместе с Серегой: меня наводчиком, его заряжающим. А командиром взвода на днях прислали нашего товарища по училищу Семена Мищенко – вот было радости. На нашем счету несколько фрицев. Самое цифру, приписываемую нам, назвать боюсь: кажется, она сильно преувеличена. Да, признаться, и стыдно хвастаться перед вами, когда „наступаем” мы пока что пятками вперед. Вчера прямо на передовой, в донской степи, зачитали приказ товарища Сталина. Влетело нам от Верховного по первое число. Сейчас мы, бойцы Красной армии, узнали, что вы, то есть народ, проклинаете нас за бесконечное наше отступление. Весь день мы не глядели в глаза друг другу – так было тяжело и стыдно. И поняли с особенной силой, что отходить больше нельзя ни на единый шаг. Ночью всем нам выдали по две тяжелые противотанковые гранаты – на случай прорыва немецких танков. Хотите – вы верьте, хотите – нет, но как-то про себя я решил твердо: умру, а не сойду с места, на котором сейчас стою и откуда посылаю вам, дорогие мои, это письмо. Знаю, что и Серега, и Семен, и все в нашей роте думают так же. Словом, за себя я не беспокоюсь. А вас вот мне жалко: тятю, наверно, скоро тоже возьмут, а Павлик, хоть он и научился материться по-мужичьи, неважный еще работник. Вся надежда на Феню да на тебя, мама. Ты у нас пускай и ворчунья, но самая-самая работающая. Берегите друг друга.*

До свидания. Крепко-крепко целую всех вас.

Ваш Григорий Угрюмов».

Феня замолчала и перевела дыхание. Мать беспокойно зашевелилась на своем табурете, сказала обиженно:

– Ты чего же пропускаешь?

– Что ты, мама? Все Гришине письмо – от слова до слова!

– Прочитай-ка еще последние-то слова.

– Хорошо, слушай, – на этот раз Феня поднесла свечу и глянула в бумагу. – «До скорого свидания. Крепко-крепко целую всех вас. Ваш Григорий Угрюмов. Июль, 1942 год».

– Ну вот. Вишь, сколько слов-то выронила! – Взяв из рук дочери бумагу, Аграфена Ивановна бережно свернула ее, унесла в сундук. Выходя из горницы, повторила: – «До скорого свидания!» Ох, Гриша, Гриша, кровинушка ты моя! Дождусь ли я этого свидания? Пресвятая Богородица, заступница наша, убереги его, спаси и помилуй!

В задней комнате она упала на колени и долго разговаривала со своею заступницей, прося у нее помощи и защиты, и при этом голос Аграфены Ивановны был тих, благодетен и покорен. Но стоило ей перейти к супостату Гитлеру, как в горле у нее закипели, заклокотали проклятия, и уж не умоляла, а требовала она от Богородицы покарать нечистую силу, обрушить на того изверга все кары небесные, весь божий гнев, навлечь на него геенну огненную.

На заре проводила мужа без слез. Выплакала ли их раньше, ожесточилась ли сердцем, но глаза были сухи, тлела потихоньку лишь давно основавшаяся в них и ни на минуту не покидавшая скорбь, – думается, явись сейчас в дом нежданно-негаданно самая великая радость,

то и она не отогнала, не отпугнула бы этого настороженного, ожидающе-скорбного выражения на когда-то мягком, добром, но сейчас суровом лице. Павлику, вызвавшемуся отвезти отца на правленческом, единственно остававшемся еще в колхозе приличном скакуне, строго настрого наказывала:

– Дотемна-то не задерживайся. Засветло вернись. В лесу, сказывают, пошаливает кто-то, лихие люди объявились. Свернут голову, как куренку. И ты, отец, не задерживай его там.

Феня предложила:

– Можя, мне поехать?

– Это еще зачем?! – Леонтий Сидорович строго посмотрел на дочь. – Ты почему до сих пор не в поле? Видишь, уже коров выгоняют. А ну марш, марш! Павлик без вас управится. Давай-ка щеку! – Он обнял Феню, хлопнул слегка по спине и тихонько оттолкнул от себя. – Ступай! Ну, мать... – подошел к смотревшей на него молча Аграфене Ивановне, так же коротко коснулся сухих, вздрагивающих и морщившихся от сдерживаемой боли губ. – Держись... Обо мне не думай... В обоз куда-нибудь определяют твоего старика... Ну, ну, не надо! Вот так... Ты у меня ведь молодчина. Помнишь, поди, на первую германскую провожала... Ну, Павлуха! Где ты? Садись, сынок!

Заехали за Санькой Шпичом: председатель сельсовета не стал ждать, когда снимут с него бронь, допек-таки и военкома и райисполком – отпросился на фронт.

Подъезжая к его дому, Леонтий Сидорович и Павлик издали увидели: какая-то девчонка стояла на улице и не сводила глаз с Санькиных окон, явно ожидая выхода самого Саньки. Легонькое голубое, совсем выцветшее, почти белое платьице, потревоженное спустившимся с горы ветерком, трепетало, похлопывая, босые ее ноги. Когда подъехали поближе, Леонтий Сидорович подивился:

– Никак Настёнка Вольнова? Она и есть! Насть, ты чего это тут?! – крикнул председатель. – «Универсал» на кого же оставила?

– Я сейчас бегу в поле, дядя Леонтий! – ответила Настя, и видно было, как она вспыхнула вся, тряхнула головой так, что одна косичка отскочила за спину, а другая заметалась на груди. И когда появился в дверях тот, кого она ждала, махнула рукой и тотчас же скрылась за углом. Леонтию Сидоровичу показалось, что Санька Шпич ее и не видел.

Возле военкомата Леонтия Сидоровича и Саньку ждал первый секретарь. Не успели они слезть с брички, как тот заговорил:

– Завидую вам. Хочется мне покомиссарить в дивизионе, в батарее ли.

– Покомиссарить, ишь ты! – улыбнулся Леонтий Сидорович. – А рядовым не хошь – в пехоте, а? Как вот мы с Санькой?

– Готов и рядовым, только зачем же в пехоте, коль артиллерист? Да вот беда, не отпускает обком, и врачи на его же стороне – окопался в моих легких еще с Гражданской заваливший, плюгавенький туберкулезишко, вот они, врачи, и прицепились к нему.

Леонтию Сидоровичу и Саньке Шпичу было неловко оттого, что секретарь райкома вроде бы извиняется перед ними, хотя, кажется, мог бы этого и не делать: должность его такая, что и в мирное-то время как на войне, а в военное – и того паче, любой бы предпочел фронт, передовую. Что же касается «завалившего, плюгавенького», то все в районе давно знали, как мучает он, гложет неунывающего этого человека, как худо бывает ему в весенне-осеннюю распутицу, каким черным, землистого цвета становится его сухонькое, из одних морщин лицо. Тут не могла его выручить и всегдашняя ирония, которой, словно броневым щитом, заслоняется Федор Федорович от бесконечного количества служебных и житейских неурядиц.

По взгляду, по другим ли каким приметам, но Знобин безошибочно определил, что могли испытывать встреченные им люди после его слов, и потому поторопился все свести к шутке, то есть прибегнул к средству, давно и хорошо отработанному и испытанному, неизменно выручавшему его в подобных ситуациях:

– Таких, как я, похоже, приберегают к Христову дню, к великому празднику. Когда вы до Берлина дотопаете и силенки ваши иссякнут окончательно – вот тогда-то и пробьет мой час.

– Это верно, – принял шутку Леонтий Сидорович, – для последнего штурма, должно, вас приберегают, Федорыч. Смотрите только, не остался бы на вашу долю шапочный разбор.

– Нет, Леонтий, не скоро, видать, он наступит, тот разбор шапочный, – уже серьезно и отчетливо различимой тревогой в голосе заговорил секретарь. – Слыхали гул?

– Как не слышать! Ночью мы, мужики, видели с Чаадаевской горы далекое зарево. Что он там поджег, не знаешь ли?

– Завод «Крекинг» в Саратове.

– Н-да...

– Ну, довольно вздыхать. Пойдемте к военкому, у него уже собралось десятка два таких же воинов, как вы, – потолкуем. Боюсь, мужички, придется вам прямо в бой – на Дону уж немец, недалеко отсюда. Два-три пеших перехода – и вот она, война. Ну, пошли.

Часом позже Павлик чуть не задохнулся в отцовых объятиях. И более всего удивило и огорчило Павлика, что тятка его при этом был непохож на самого себя, губы тряслись по-бабьи, и Павлику было невыносимо душно, тягостно оттого, что его целуют и тискают в руках, как малого ребенка.

– Тять, ну будя, будя же, – ворчал Павлик, высвободившись из отцовских рук, – я поеду, не то мама будет беспокоиться.

– Ну, поезжай, поезжай, сынок, – заторопился и отец, и глаза его были уже сухие, только покраснели немного.

Павлик круто развернул жеребца, по-ямщицки гикнул, взмахнул кнутом и вмиг растворился в густой, непроницаемо плотной пылище. Серый жеребец и белоголовый возница, пока выбрались на околицу поселка, обрели каурую масть.

От Новой Ивановки, первой деревни, лежащей на пути от районного центра, Павлик должен был бы взять правее, и лес остался бы у него слева, внизу, а он проехал бы степью, грейдером, до Панциревки, откуда рукой подать до Завидова. Но мальчишка избрал нижнюю дорогу – и вовсе не потому, что она была короче (в его возрасте такие соображения не берутся в расчет), а потому, во-первых, что в лесу было прохладнее, а во-вторых, и главным образом потому, что мать припугнула его какими-то там лихими людьми, и вот теперь он, Павлик, покажет, что никаких разбойников там нету, а ежели и есть, то уж, во всяком случае, он их нисколько не боится. Дорога, по которой давно уж никто не ездил, заросла травой; широколистный лесной жирный пырей, свирельник вонючий, папоротникообразные, с тонкими резными листочками растения, дягиль, борчовка, дикая морковь сообща вели тут сражение с горьким лопухом, оттеснив его в конце концов вправо и влево от колеи; примирившись с поражением, лопух стоял в сторонке, покорно держа на своей огромной жилистой ладони одну какую-нибудь, а то и сразу несколько пичужек, вспархивавших лишь тогда, когда лошадиная морда чуть ли не касалась лопуха. Сороки тарахтели где-то близко и мелькали, нахальные, возле самой морды недобольно похрапывавшего жеребца. Овода и неисчислимые полчища комаров, будто из засады, накнулись на Серого и ездока, едва они погрузились в душный, против ожидания, крепко настоящий на множестве разнообразных горячих лесных запахов омут; обмахивая и себя и Серого, Павлик в сердитом недоумении подумал о том, для каких уж это крайних надобностей сотворены все эти отвратительные, злые, кровожадные существа, разве нельзя было обойтись без них? Вот птицы – те да, они нужны, без них было бы скучно на белом свете: взять хотя бы лес – ну какой же он лес, ежели в нем нету птиц? На что уж вредящее отродье сорока, но и с нею Павлик готов примириться, она хоть и воровка, но не покидает человека и зимою, когда почти все птицы улетают в теплые края, а без них, известное дело, и сорока сойдет за соловья. То же самое можно сказать и про ворону, про воробья, про синицу, дятла... Павлик вспоминал, какие еще пернатые остаются в здешних краях и зимою, но не вспомнил. Может

быть, потому, что в глубине леса вдруг кто-то заголосил каким-то уж дурным, переходящим от дикого вопля к столь же дикому хохоту голосом. Мысли Павлика смешались, во рту в один миг все спеклось, а под рубашку забрался и побежал по спине противный холодок. Серый вспряднул ушами, прибавил шаг. Крик повторился, и Павлик догадался наконец, кто бы это мог быть. И, догадавшись, сам расхохотался, но светлые капельки все же катились по его щекам – они успели выскочить из глаз раньше, чем пришла к мальчишке счастливая догадка. Ясное дело, это голосил филин. Днем-то он ни черта не видит, вот и орет, чтобы и подбодрить самого себя, и пострашать врагов своих на случай, если им вздумалось бы напасть на него, слепого.

– Серый, Серый, успокойся, это филин! – сказал Павлик жеребцу и, привстав, погладил его по широкому заду у самого хвоста. Серый еще раз вспряднул одним ухом и вроде бы действительно успокоился, всхрапывания его кончились, и шел он теперь обычным, неспорым шагом. В одном месте, однако, резко остановился, испуганно заржал и вскинулся на задние ноги так, что толкнул телегу задом, и Павлик от неожиданности едва не свалился на землю. Когда опомнился, пришел в себя, увидел человека в рваной и грязной гимнастерке и таких же брюках, с которых, усыпанные репьями, гармошкой сползали серые обмотки. Человек держал Серого под уздцы, а сам пристально, пронзительно вглядывался в возницу чуть видимыми в густой черной волосне глазками. Белая кость зубов на мгновение осветила дремучие эти заросли, послышался хрипловатый, но вовсе не старческих голос:

– Ты откуда будешь?

– Из Завидова, – ответил Павлик, от страха стуча коленками о переднюю перекладину брички.

– Чей же? Не Угрюмова ли Левонтия сын Павлушка?

– Да-а, – тихо протянул Павлик.

– А меня узнал?

– Не-е.

– Врешь?! – злобно рявкнул бородатый.

– Не-е, правда, дяденька, не узнал.

– Ну ежели пикнешь, скажешь кому, утоплю, как щенка. Слышишь?! – После таких угроз бородатый подошел к бричке, отшвырнул мальчишку, выхватил ученическую его холщовую сумку, в которой лежали круговина колбасы да связка кренделей, сунутые в последнюю минуту отцом. Порылся еще и, ничего не найдя, пообещал еще внушительнее: – Раздеру, как лягушонка, ежели скажешь! Ты ничего не видал, ничего не слышал. Понял?

– П... п... понял, – с трудом выдавил из себя Павлик.

– Ну а теперь мотай. Живо! – Бородатый выхватил из рук мальчика кнут, для острастки потянул им сперва возницу, а потом уже Серого.

Жеребец еще раз взвился – и понес. Павлик упал навзничь на дно брички и подняться, ухватиться за вожжи не смог. Серый мчался с такою резвостью, на которую не был способен и в молодые свои лета. Сомкнувшиеся высоко над дорогой вершины деревьев зелеными, растрепанными облаками стремительно неслись навстречу, убегали назад, быстро перемещающейся рябью отражались в широко распахнутых, округлившись в испуге глазах мальчугана. Низко свесившиеся гибкие ветви молодых вязов и черемушника, встретившись с дугою, издавали короткий жалобный стон, точно раненые; под копытами жеребца то и дело раздавался крик, и тогда над телегой летели с вибрирующим свистом и воем осколки раздробленной сухой древесины; замешкавшаяся трясогузка не успела улететь в сторону, стукнулась о ремешок туго натянутой узды, теплым комочком шмякнулась прямо в лицо Павлику, и тот непроизвольно, автоматически прижал ее рукою да так и держал на щеке, чувствуя слабеющие судороги угасающей жизни, держал до тех пор, пока Серый не вкатил его прямо в правленческий двор.

Вышедший на крыльцо дядя Коля крикнул:

– Павлушка, да ты что так жеребца-то гонишь? Разве не видишь, весь он у тебя в мыле! Вот возьму кнут...

Но тут дядя Коля понял, что с мальчишкой что-то случилось, проворно сбежал с крыльца:

– Что с тобой, Павлушка? Отчего ты помушнел так? И откуда кровь-то на щеке? – Заметив выпавшую из слабевшей и все же вздрагивающей руки ездового пичужку, продолжал: – Ах, вон оно что... Но зачем же так гнать лошаденку? Эх ты, работник. Будь я твой батька, не миновать бы тебе порки, Павлуха! Ну ладно, беги домой, а я уж сам распрягу Серого. Чего доброго, ты еще вздумаешь напоить его. Беги, беги!

Павлик, поднявшись на непослушные, ватные какие-то ноги, осторожно спустился на землю, но домой не побежал, как велел ему новый председатель. В мальчишке боролись и не могли не бороться два чувства. Ему, конечно, очень хотелось рассказать о случившемся в лесу, но он был все-таки угрюмовской породы, где ни во что ставились люди болтливые, не умеющие сохранить даже самой малой тайны. Угрозой бородатого Павлик мог бы пренебречь – ребенка можно припугнуть на час-другой, не более того, – но он дал слово молчать и как бы упал в собственных глазах, если бы не сдержал этого слова. А оставался Павлик на правленческом дворе потому, что еще не составил в голове своей сообщения, которое он обязан был все-таки сделать. В конце концов начал:

– Дядь Коля, скажи всем колхозникам, чтоб лесною дорогой не ездили в район!

– Это почему же?

– Пеньки там да ямы – чуть было ноги Серый не поломал, – быстро соврал Павлик. И чтобы убедить старика окончательно, уснастил свою версию очень важной, с его точки зрения, деталью: – И крапива там в человеческий рост вымахала, вон как ногу-то обжег, – задрал штанину, Павлик показал косою лиловый след, оставленный ременным кнутом.

– Хорошо, иди, всем накажу, чтоб не ездили.

Павлик долго и внимательно глядел в добрые, с вечной усмешкой глаза дяди Коли, стараясь определить по ним, поверил ли старый матрос в его придумку, но так и не определил. Со смутною, недетскою тревогою на сердце направился домой – первый, кажется, раз в жизни не бегом, а размеренным, раздумчивым мужичьим шагом.

«Ишь как вытянулся! – подумал дядя Коля, глядя вслед удаляющемуся Угрюмову-младшему. – Можно, пожалуй, и к быкам его. Тихан и один управится или жену возьмет в подпаски. А этого в самый раз к быкам, они его знают, не обидят. К Солдату Бесхвостому – пускай от комбайна хлеб отвозит».

Глава 11

Дядя Коля, приняв дела артельные, очень скоро сообразил, что одними тракторами на поле не управиться. И по количеству этих тракторов с гулькин нос, а о качестве и говорить не приходится: слезы горючие, а не тракторы. В прошлом году в колхозе работали два новеньких гусеничных трактора, а теперь во всем районе их не увидишь: таскают могучие «сталинцы» не плуги, а тяжелые гаубицы где-то там, откуда по ночам видятся жидкие сполохи да слышатся не радующие землю глухие громовые раскаты. И первое, что сделал новый председатель, это собрал в нардоме всех женщин и сказал им, чтобы они незамедлительно начали обучать своих коров – в самый короткий срок буренки должны усвоить обязанности лошадей и заменить их на время войны. Нельзя сказать, чтобы хозяйки и их коровы с восторгом встретили дяди Колину идею. Как он и ожидал, они ее приняли в штыки. Применительно к коровам это выражение можно было бы понимать даже в буквальном смысле, ибо каждая из них, почуяв на шее ярмо, норовила подцепить на рога непосредственного исполнителя председателевых предначертаний, и не только норовила, но и подцепляла натуральным образом, так что кое-кому пришлось потом чинить поломанные ребра. И все-таки смирить коров было куда легче, чем солдаток, в особенности тех, у которых «семеро по лавкам». Катерина Ступкина, к примеру, решительно объявила:

– Моя Рыжонка в ярме не будет! Лучше уж заналыгайте меня, мне все едино. А ребятишек без молока не оставлю. Можя, твою Орину доить прикажешь?

Бабы захохотали, а дядя Коля, переждав их смех, подбавил своего:

– Э, Катерина, нашла кормилицу! Моя Орина, посчитай, годов тридцать уж не доится. Мы с ней давненько отдоились! Ну вот что, бабы, смех смехом, а ведь дело-то серьезное. Плохо без молока и вам, и вашим детишкам – кто ж спорит? А ведь без хлеба – и того хуже.

– Мы и так его не видим, хлеба. В прошлом годе дали по сто грамм отходов на трудовень, а ныне, видно, и их не получим, – не сдавалась Катерина, – вся надежда на корову да на свой огород. А ты...

– Что я? – гневно перебил дядя Коля, весь он сделался вдруг злым и колючим, и женщинам даже показалось, что жесткие редкие седые волосы на большой круглой его голове встали дыбом, взъерошились, ошетинились. Повторил свой вопрос еще свирепее: – Что я! Может, скажете, о себе дядя Коля душой мается, свою корысть блюдет, а?! А кто ваших мужей и сыновей, какие на войне теперь, кормить, обувать да одевать будет? Кто, я тебя спрашиваю, Катерина?!

Вгорячах дядя Коля выпалил последние слова и сейчас же осекся, замолчал, конфузливо пряча глаза, ибо слова эти были сейчас более чем некстати. И Екатерина не преминула воспользоваться его промашкой:

– Моих теперя ни обувать, ни одевать, ни кормить не надо: все полегли. А малых не дам в трату, горло перегрызу тому, кто сунется с налыгой к моей Рыжонке!

Старый матрос понял, что лобовая атака не удалась, что, хочешь не хочешь, придется перейти к тактике медленной осады, то есть к «индивидуальной» работе с каждой солдаткой в отдельности. Оставить без ответа горькие и в сущности-то справедливые слова Екатерины он тоже не мог, да это было бы и не в его правилах. Сказал – и никто не заметил в эту минуту ни в глазах его, ни в голосе привычной и знакомой всем усмешинки:

– До такой крайности, Катерина, дело не дойдет. Малых твоих ребят в обиду не дадим. Так что и зубы твои, и мое горло останутся в сохранности. Хотя за горло не ручаюсь. Ору вот, надрываюсь, да разве вас перекричишь? А оно у меня старое, горло. Не выдержит. С коровами придется так решать: дело добровольное. У кого есть сознательность...

– А у меня, знать, ее нету, сознательности?! – вновь поднялся пронзительно-громкий голос Екатерины. – Так, что ли, тебя понимать, Миколай Ермильч? А? Можя, я по несозна-

тельности проводила на фронт мужа да двух старших сыновей? Можя, их дома припрятать надо было бы? Ну, что же ты молчишь?

Дядя Коля попытался вернуть своему лицу всегдашнее усмешливое выражение, но получилась гримаса, и само лицо уже было бледным, и по нему уже бежали капельки пота. Однако заговорил он спокойно:

– Почему я молчу, спрашиваешь? Да потому, что ты орешь, леший тебя дери! Ежели все мы будем говорить разом, кто же слушать будет?

Женщины сдержанно засмеялись, а дядя Коля продолжал совершенно серьезно:

– Про твое горе, Катерина, все мы тут знаем, но не нас вини в том. И не в один твой дом пришла такая беда, а, подсчитай, в каждый второй. Войне конца не видно, она уже у нашего с вами порога. До споров ли теперь нам, Катерина? Может, погодим покамест, после войны поволтузим и словами и руками друг дружку сколько душе угодно, а сейчас лучше не за волосы, а рука об руку держаться. Так я думаю. Не знаю, как вы, бабы, а я вот так.

Дядя Коля замолчал и отвернулся, пряча что-то на своем лице. Потемневшая от пота и истлевшая прямо на нем же, ни в какие времена не снимавшаяся тельняшка висела на худых, мослатых, когда-то высоких и широких, а ныне сузившихся, как бы усохших его плечах. На морщинистую шею кирпичного цвета по-ребячьи жалко и трогательно упало несколько влажных седых кисточек, вконец уничтожавших былую воинственную осанку морского волка. В повисшей надолго плотной, тягостной тишине вдруг раздался глубокий, матерински сочувственный вздох:

– Да что это мы, бабы, в самом деле? Напали на одного старика! Аль он вправду провинился в чем перед нами? Я б на его-то месте плюнула на всех нас – и домой, делайте что хотите, черт с вами! У него пенсия матросская да семьдесят годов. Мог бы сидеть с удочкой на Баланде, а то вот возится с нами, дурами. Потому как честный человек.

– Не слушай ты нас, дядя Коля! – разорвала наступившую было вновь тишину своим тонким, как всегда, озорным голоском Маша Соловьева. – Баб калачом не корми, дай только побазанить.

– Ты уж не гневайся на нас, Ермилыч! Пустое мелем. Она, Катерина, пошумит, покричит, а душой-то твою же сторону и возьмет. Муторно у нее на сердце, вот и не знает, на ком злость сорвать. Так что ты уж ее прости. А коровенок, коль надо, обучим. Оно и так сказать: за дровишками, за сеном ли на ком поедем, на себе? Много ли на салазках-то привезешь? Так что все едино придется буренок к ярму прилаживать.

Дядя Коля быстро повернул лицо к залу, и теперь он был прежний – лукавый, бесконечно добрый дядя Коля.

– Спасибо вам, товарищи женщины, за такие слова. Но все-таки нанесли вы моей душе урон...

Он сошел со сцены и, ни на кого не глядя, направился прямо к открытой двери. Второй вопрос – о сборе средств на строительство «Красного завидовца» – хотел было не поднимать, но у самой двери передумал, решительно вернулся на прежнее место и прямо с ходу объявил суть дела. К его радости, народ ответил одобрительным гулом. Многие женщины полезли за пазухи, извлекая оттуда узелки, с каковыми, видать, никогда не расставались. Дядя Коля остановил их:

– Это не сейчас. Завтра оформим в сельском Совете. Как положено. Еще раз спасибо вам от всей советской власти. – И быстро пошел.

Увидел на улице, перед народом, среди подростков Павлика Угрюмова, вспомнил, что хотел пристроить его к Солдату Бесхвостому, и окончательно утвердился в этом намерении – мальчишка был крепыш крепышом. К тому ж такой не станет хныкать, гордый больно. Что ж, однако, случилось с ним в лесу? Про ямы и колдобины на дороге он врет. Не в них дело.

А в чем? Не найдя на это ответа, дядя Коля опять нахмурился, пошевелил темными тонкими татарскими усами и не спеша побрел к правлению, где в одном лишь окне слабо желтел огонек.

Молодые колхозные быки, ставши волами, не утратили «индивидуальных» качеств, но вместе с тем в непостижимо малый срок обрели общие черты, пожалуй, единственно возможные и в высшей степени целесообразные в их положении, каковые с предельной точностью можно было бы выразить двумя словами: лень и упрямство. До знакомства с ярмом они могли бегать, взбрыкивать, пыряться, подбрасывать землю копытом, угрожающе мыча, мериться силой и ловкостью друг с другом, то есть всячески показывать перед юными рогатыми красавицами свою удаль. Но с того часу, как на бычью шею легло ярмо, животные, будто сговорившись, включили первую скорость с тем, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не переключать ее на иную, более высокую. Ты можешь кричать, призвав на помощь всех святых и представителей противоположной им нечистой силы, а также невысказанный набор энергичных словосочетаний, можешь размахивать кнутом, дубиной, с яростью опускать эти милые инструменты на бычью хребтину, как угодно и сколько угодно изощряться в экзекуции – бык не прибавит шагу, не сделает этого ни тогда, когда воз тяжелый, ни тогда, когда телега или фургон вообще порожние. В неумолимой своей неуступчивости волы удивительно напоминают человека за рыночным прилавком, который, подчиняясь то ли сокрытому от мирских глаз сговору, то ли неписаному какому-то закону торгового люда, определит однажды цену своему немудрящему товару и не понизит ее ни за что на свете, хоть ты, покупатель, лопни или стань на колени. И все-таки воловье упрямство понять можно. Лишенные возможности объясниться с людьми, сказать им, что бык есть бык и глупо ждать от него рысачьей прыти, животные только таким вот образом могли выразить свой протест. К тому же, равно как и людям, волам свойствен инстинкт самосохранения, и, подчиняясь великому его закону, они понимают: чтоб не протянуть ноги раньше времени, не надо давать им лишней работы.

Павлик Угрюмов не знал про все это, когда выезжал в поле на Солдате и Веселом, которого определили в напарники Бесхвостому. Подпасок имел возможность за полтора года составить представление о них: Солдата и Веселого можно было обвинить в чем угодно, но только не в лени. В стаде за ними накрепко укоренилась репутация отбойных, непутевых, и за излишне свободолобивый, озорной норой одному из них, как известно, пришлось лишиться такой важной и необходимой принадлежности, как хвост. На Веселом не было столь явных признаков крутых воспитательных мер, но по тяжести проступков он мог бы по справедливости поделить со своим напарником его участь. И если этого не произошло, то обязан Веселый столь счастливым для него исходом резвости своих ног или более удачливой доле.

Солдата и Веселого назвали первой парой, которая, по мудрому замыслу дяди Коли и Тихана Зотыча, должна была задавать тон всем остальным. Что ж, тон был задан, да вот только совсем не такой, на который рассчитывали мужики. Именно Солдат Бесхвостый в паре с Веселым, примирившись с новой своей участью, чуть ли не на второй день своего учения раз и навсегда нашли для себя – а вышло, что для всех, – тот выверенно-медлительный шаг, который поначалу так удивил и огорчил Павлика. Мальчишка, основываясь на прежних своих наблюдениях, рассчитывал, что за каких-нибудь полчаса быки доставят его на поле, к комбайну, от которого предстояло отвозить на ток обмолоченную пшеницу. Но пришлось затратить два полных часа, какие и более терпеливому человеку могли бы показаться вечностью. На комбайне же работал дядя Павлика по материнской линии, Степан Тимофеев, мужичок хозяйственный и въедливый, прямо-таки презирающий людей, расхлябанных в работе. Впрочем, доставалось от него часто даже во всем правым людям, и виною тому была язва желудка, которой давно болел Степан. Из-за нее, проклятушей, страдала даже Феня, обязанная возить комбайн дяди на своем тракторе. Степан прямо-таки изводил ее своими бесконечными придирками. То, считал он, Феня едет слишком медленно, то слишком быстро, то не вдруг после его команды «сто-о-

ой!» останавливается, то очень уж резко трогает с места, то еще что-то делает не так. В течение длинного и изнуряюще-томительного жаркого дня промеж них не раз вспыхивали изнурительно-однообразные словесные баталии, кончавшиеся с наступлением темноты для того лишь, чтобы с рассветом начаться сызнова. Павлик в который уж раз слышал, как, измученная физически и вконец истерзанная дяди Степановыми придирками, придя домой, Феня говорила, обращаясь к себе одной:

– Не буду больше с ним. Не человек, а зверюга какой-то, поедом ест. Попрошу Тишку, чтоб Машу к нему приставил. Она его так отбреет!

Но угрозы свои Феня никогда не доводила до исполнения. Может, потому, что Степан чуть свет сам заезжал за нею на правленческом Сером, усаживал, как барыню, в бричку со свежим душистым сенцом и вез к комбайну, а там помогал завести старую ее, весь в недугах, трактор. Степан не хуже Фени знал, что вместо нее к нему могут прислать только Марию Соловьеву, и это никоим образом его не устраивало: и тракторист из Маши получился аховый, и не накричишь на нее, как на племянницу, Соловьева не из тех, кто терпят ругань в свой адрес.

Павлик издали увидел, что Степанов комбайн стоит. Наверное, намолотил уж полный бункер, отвезти пшеницу не на чем, отвечать за это придется ему, Павлику, – разве объяснишь дяде, что быки идут черепашим ходом, что все средства, которые обычно пускает в таких случаях ездок, были уже испробованы парнишкой и не помогли, не вразумили ни Солдата, ни Веселого? Чуть не плача, Павлик уже кричал в отчаянии:

– Какой же ты Солдат? Гитлер ты – больше никто! Чтоб ты сдох на этом месте!

Когда и это не помогло, Павлик в полной безнадежности упал на дно фургона и без всякой мысли стал глядеть в блеклое, разморенное жарою, какое-то нерадостное, вовсе не синее небо. Без единого облака, оно было бы совсем пустынно, если бы его отчетливо не прочерчивала с запада на восток белая полоса, возникшая где-то далеко у горизонта. Глаза Павлика остановились на ней нехотя и лениво – так, чтобы лишь на чем-нибудь остановиться, за что-нибудь зацепиться. Вскоре на оконечности движущейся, ползущей этой полосы Павлик увидел серебристый крестик и невольно залюбовался им. До его слуха откуда-то издали и сверху докатился густой, прерывистый нездешний гул, тот самый, в который фронтовой люд успел вложить уже вполне определенный, извлеченный из горького опыта смысл: «Везу, вез-у-!» Но для степного мальчишки то были пока что просто незнакомый гул и чудной крестик, похожий еще на жаворонка той ранней весенней поры, когда он светлым поплачком трепещет в синем океане небес. Крестик приближался, тянул за собой белую, всю в барашковых кучерявинках полосу; вот он стал уже просто крестом, все более утрачивавшим серебристую окраску, сменяя ее на темно-серый, с сизоватым оттенком цвет. Поняв наконец, что бы это могло быть, Павлик быстро вскочил на ноги и тут увидел, что слева от фургона по багряно-золотистой стерне стремительно бежит такой же крест, только совсем уж черный и до жути чужой в этом пахнущем хлебом и травами раздолье. Запрокинув голову, Павлик увидал, как из-под темного перекрыстья грузно стонущей неживой птицы отделилась точка и, вытягиваясь в большую каплю, косо, с потрясающим душу свистом полетела вниз, а затем, встретившись с землею, сомкнулась с громом, прокатившись по степи и встряхнувшись ее. В каких-то двухстах метрах от комбайна взметнулся султан черного дыма, смешанного внизу с кроваво-красным пламенем. Сухая и тугая волна упруго толкнула Павлика в грудь, опанула незнакомым, никогда не испытанным мальчишкой, тревожным дыханием. Павлик выпрыгнул из фургона и помчался было босиком по стерне, но вскоре остановился, поглядел туда, где разорвалась бомба. Дым уже убежал далеко в сторону, у комбайна маячили две фигурки – Степана и Фени. Быки стояли на дороге, и когда Павлик подбежал к ним, то не мог поверить глазам своим: сладко смежив очи, Солдат и Веселый как ни в чем не бывало пережевывали жвачку, по бархатным их шеям изнутри прокатывались снизу вверх шары отрываемой, наспех нахватанной и упрятанной про запас травы; по краям нижних губ пузырилась зеленоватая пена, быки слизывали ее тол-

стыми шершавыми языками, и оттого было особенно хорошо видно, что они испытывали ни с чем не сравнимое блаженство и явно не хотели расстаться с ним, когда Павлик раз за разом огрел обоих кнутом.

За изволоком, у Большого мара², совсем близко Павлик увидел, как к свежевспаханной, словно бы шевелящейся, переливающейся в текущем прозрачном мареве, лоснящейся от перевернутого чернозема полосе отовсюду подходили женщины. Они шли и все время оглядывались на место, где только что упала бомба; те, что постарше, крестились, странно и неловко махая перед лицом отвыкшими молиться руками. В борозде, вытянувшись в длинную цепь, стояли запряженные в плуги пары быков и коров. Возле ярма передней пары возвышалась костлявая фигура нового председателя; одною рукой он придерживал налыгу, а другою, как бы черпая воздух, звал разбежавшихся при бомбежке женщин. Только волы и поставленные вслед за ними коровы были невозмутимы. Они, так же как и Солдат с Веселым, спокойно пережевывали серку и подремывали, пользуясь неожиданной и потому особенно приятной передышкой. Павлик увидел старых знакомых из своего стада и порадовался этой встрече. Возглавляли, или вели борозду, Цветок и Рыжий, оба смиренного нрава; за ними – Гришка и Ванька, когда-то они были самыми слабыми, а теперь заматерели, но сильно исхудали; в паре с Мычалкой, быком, в конце прошлой зимы приобретенным дядей Колей в соседней Чаадаевке, стояла корова. К ней успела подойти хозяйка – Павлик узнал Катерину Ступкину; затем было еще пар двадцать коров, которыми управляли хозяйки. Дядя Коля, точно командир на смотре своего войска, медленно двигался от головы колонны к ее хвосту, на минуту останавливался около каждой пары и что-то говорил – видать, подбадривал пахарей в юбке. У последней пары он постоял чуть больше, потом поднял руку – и цепь двинулась. Спины быков и коров выгнулись, морды опустились до самой земли, послышались то звонкие, девичьи, то надрывно-хрипловатые, бабы, голоса: «Цоб-цобе, Цветок!», «Цоб-цобе, Рыжий!», «Цоб-цобе, Мычалка!», «Цоб-цобе, Лысенка!», «Пестравка, Зорька, цоб, цоб, родные!». На курящейся теплым паром борозде тотчас же появились пресытившиеся зерном грачи, они бесстрашно, нахально выхватывали розоватых, влажных червяков прямо из-под пяток плугаря; с тою же целью, но немного позади, над черными волнами пахоты трепетали кобчики и, рассчитав мгновение, камнем падали вниз и сейчас же взмывали в небо, лакомясь, подобно чайкам, прямо на лету.

Когда цепь двигалась в обратном направлении, на ее пути оказалась воронка от разорвавшейся недавно бомбы. Женщины вновь остановили волов и коров и пестрою толпою помчались в голову колонны, встретившейся с препятствием. Тут уже и Павлик не удержался – направил Солдата и Веселого к воронке. Еще раньше туда прибежали и Феня со Степаном Тимофеевым, чему Павлик обрадовался: отвлеченный происшедшим, дядя Степан не будет ругать за опоздание. Женщины стояли по краям воронки в торжественно-скорбном молчании, будто у только что вырытой могилы. Чем-то жутко враждебным, до ужаса ненужным и противоестественным дохнуло на них из этой разверзшейся, воняющей горькой, незнакомой гарью рваной раны земли. Павлик спрыгнул с фургона прямо на комкастую насыпь и сейчас же ощутил под голый ступней правой ноги что-то жгуче-острое; вскрикнув от внезапной боли, он непроизвольно нагнулся. И все увидели в его руке ощерившийся, поблескивающий на солнце осколок бомбы. Женщины невольно отпрянули назад, а Настя Вольнова ойкнула и инстинктивно, совсем как ребенок, ухватилась за рукав Фениной кофты да так и стояла в своем ситцевом, закапанном машинным маслом платьице, не зная, что делать дальше: может быть, бежать от этого страшного места сломя голову? Сейчас она была похожа на молодую испуганную дикую козочку: крикни кто за спиной, и Настя вмиг сорвется с места, и только пятки замелькают на стерне да затрепещут, вспыхивая на солнце, светлые ее косички. И ужас и жалость к пора-

² Скифская могила.

ненной земле, и удивление перед безумием и дикостью только что совершившегося одновременно можно было увидеть в ее увлажнившихся, заблестевших глазах. «Зачем, зачем, зачем все это?» – спрашивали эти испуганно-недоумевающие глаза. Феня, поняв, что творится в душе девчонки, притянула ее к себе.

Павлик попросил у сестры платок, осторожно завернул в него осколок и сунул в карман – поздней ночью, когда все в доме уснут, когда Феня уложит своего маленького Филиппа и уснет, когда мать в последний раз поговорит с Пресвятой Богородицей, Павлик осторожно, на цыпочках, выскользнет из избы, проберется на зады и там, возле плетня, под горьким лопушком, около могилки, в которую захоронил трясогузку, упрячет осколок; неизвестно почему, но Павлик решил, что он должен сохранить этот недобрый знак войны и показать его возвратившимся отцу и старшему брату Гришке. Но пока что Степан Тимофеев сердито посоветовал племяннику:

– Выбрось ты эту пакость.

Однако за Павлика вступился долго молчавший и посуровевший дядя Коля:

– Пускай сохранит – для памяти. Может, стодится когда. Мало ли чего бывает на земле. Спрячь, спрячь, сынок!

Тишка, спавший в тракторной будке, вмиг разбуженный близким взрывом, похоже, еще не успел оправиться от потрясения; зябко ежась, пряча чернявую свою голову в плечи, он все время твердил: «Мать их... от мать их!..» Это бормотанье он и унес с собою опять в будку, нырнул в нее, как суслик, и не показывался больше до темноты. Ушли к быкам и коровам женщины. Дядя Коля сказал тихо, осипшим от волнения голосом:

– Испортил борозду, негодяй...

– Он все испортил, – проговорила Катерина Ступкина.

Она одна только и осталась еще у воронки и по-прежнему глядела на ее дно скорбными глазами.

Наступившую тишину постепенно стали заполнять привычные степные звуки, те, что не слышит, не замечает сеятель, как не замечает он и своих движений, веками выверенных, нужных и важных. Перво-наперво вовсю заработали притихшие было неутомимые степные молотобойцы – кузнечики; густо, пружинисто загудел шмель, выбирая, в какой бы из бесчисленных цветков погрузить свое желтовато-черное мохнатое тело; где-то у Большого мара несколько раз кряду просвистел, поднявшись у своей норы столбиком, сурок; различим стал до того неслышный сытый шелест пшеничного колоса; сухо захлопали шершавыми лопухими листьями поспевающие подсолнухи; над ними уже носились серым облаком, едва видимым в разогретом воздухе, воробьи, их чулюканье смешивалось с шелестом листьев. Сочный хруст разрезаемых лемехами кореньев, шорох переворачиваемой земли, возгласы женщин и шелканье кнутов так же незаметно и привычно вливались в остальные звуки, делались их неотъемлемой частью. Степь опять стала такой, какой из века в век ее знал и любил сеятель.

Настя Вольнова, сволакивавшая своим «универсалом» соломенные кучи из-под комбайна, с поздней августовской темнотой вернулась к тракторной будке, где уже готовились к ночевке старшие ее подруги. Настя долго умывалась возле деревянной бочки, и ее усердие в конце концов было вознаграждено: из черного круга воды вдруг выглянуло и озарилось призрачным светом луны ее милое, почти детское личико с ярко заблестевшими глазами и зубами. Встряхнув мокрыми на концах косами, девчонка направилась было зачем-то в будку, но ее остановил непривычно строгий, предупреждающий о чем-то недозволенном для нее, Насти, и все-таки как бы виноватый голос Фени:

– Не ходи туда, Настя!

Расширившиеся в недоумении глаза девушки остановились на старшей подруге. Та снизила голос почти до шепота и теперь уж не требовала, а просила:

– Не ходи.

Феня приблизилась к Насте, обняла за худенькие плечи, подвела притихшую и напуганную к небольшой копне свежей соломы и усадила рядом с собой на своей постели. Развязала узел – на темном платке обозначились четыре яйца, ржаной хлеб Настя услышала задрожавшими помимо ее воли ноздрями. Она очень хотела есть, но все-таки сказала:

– Что ты, Феня?! У меня, чай, своя еда...

– Нету у тебя никакой еды. Не ври. В обед еще все слопала. Ешь!

Настя покраснела, но при свете месяца этого нельзя было увидеть. Разбив яйцо об острое свое колено, она запрокинула голову и по-сорочьему выпила его. Облизнулась и совсем уж подетски шмыгнула носом. Теплая волна нежности, жалости и любви одновременно накатила на Фенино сердце.

– Родненькая, сестренка моя! Чистая моя! – последние два слова вырвались у нее с душевной болью и дрожью. Боясь, что на глазах объявятся слезы, отвернулась и поглядела на будку – теперь уж сама – с крайней досадой и горьким недоумением. Подумала: «Зачем ты, Мария, делаешь, сотворяешь такое? Зачем?!» И, как бы почуяв, чем мается ее подруга, в дверях будки появилась Соловьева. Застегивая кофту и спускаясь по ступенькам на землю, Маша говорила:

– Господь наплатил, никто не видал. Слава ему, милостивцу и заступнику нашему! – Сказав это, с хохотом повалилась на трактористок, принялась щекотать, приговаривая: – Ну, ну, что хари воротите? Вы ж не знали, чем мы там... Можя, искались. Ведь завшевели мы тут, и боле всех – Тишка. Измучился, сердешный, с нами вконец.

– Молчи, бесстыдница! Не видишь, ребенок совсем Настёнка-то. А ты что вытворяешь?

– Федору моему небось все расскажешь? – Голос Маши сделался враждебным. – Ну и рассказывай! Да не жди, когда вернется, пиши сейчас. Запомни адрес: полевая почта...

– Перестань!

– Ну и ты оставь меня в покое. Сама знаю, что делаю. И за Настю не беспокойся, не испорчу, не прокаженная.

– Ты хуже прокаженной.

– Ну и пусть.

– Дура ты, дура, Машуха! Убила бы я тебя! – Феня кивнула на будку. Прикрыла при этом своими руками Настины уши. – Вот увидишь, кастрирую собственноручно. Подкрадуся как-нибудь к сонному и...

Маша громко расхохоталась.

– Давай, Фенюха, я за ноги его подержу.

– Хорошо, договорились. А теперь уходи от нас.

– Что, опоганилась?

– А ты думала? Уходи, уходи за копну. Чтобы и духу твоего тут не было.

– Тоже мне праведницы отыскались. Ну и дьявол с вами. Берегите свое богатство неизвестно для кого. У Настёнки хоть Санька есть, а ты, Фенюха, кого ждешь?

– Знаю кого. Иди, иди! – Феня поглядела вслед уходящей, сладко потягивающейся и позевывающей подруге, крикнула вдогонку зло и торжествующе: – Я-то дождусь, а вот ты!..

Феня повернулась лицом к притихшей, затаившейся, сжавшейся в комочек Насте, прильнула щекой к мягким ее, пахнувшим керосином, чуть курчавившимся волосам, и, будто оберегая от близкой беды, крепко прижала к себе, и теперь слышала, как часто и напуганно стучит где-то рядом ее сердечко. На золотистой соломе, у девичьего изголовья, заметалась серая рваная тень вылетевшей на промысел совы. Чуя ее, под соломой беспокойно завоились полевые мыши, пискнули и умолкли, затаились. Настя плотнее прижалась к Фене, ткнулась маленьким холодным носишком своим в Фенино ухо, горячо прошептала:

– Я очень, ну очень, очень тебя люблю, Феня!

– Хорошо, ну а теперь поспи. Скоро светать начнет. А если не хочется спать, давай споем песню.

– Давай! – обрадовалась Настя. – А какую? – И вдруг предложила: – Про ивушку, а, Фень?

– Про ивушку так про ивушку. Эх ты, пичужка моя беспокойная!.. Ну что же, попробуем. – И Феня запела глубоким, грудным, бархатным голосом, будто специально созданным для грустных девичьих песен:

Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?

Настя сейчас же присоединилась своим робким и дрожащим, как струна:

Иль частым дождичком бьет, сечет,
Иль под корешок вода течет?

Было уже за полночь. В пустынном небе одиноко висела молчаливая, как всегда загадочная луна, где-то далеко урчали тракторы, а тут лились и лились звуки старинной, забытой было, но в последнее время вновь воскресшей почему-то песни:

Девица, девица, красавица-душа,
Что же ты, девица, невесела сидишь,
Али ты, красавица, тужишь о чем,
Али сердце ноет по дружке милом?

Глаза Фени теперь были темным-темны и, устремленные вверх, влажно светились, как два глубоких ночных омутка. От тревожного, напряженного их свечения у Насти сжималось сердце, и она торопилась начать новый куплет:

Ивушка, ивушка, на воле расти,
Красавица девица, не плачь, не тужи!
Не срубят ивушку под самый корешок,
Не разлюбит девушку миленький дружок.

Феня вдруг нахмурилась, потребовала:

– Ну хватит, Настя. Спать, спать!

Глава 12

Голодно в семье Угрюмовых, голодно во всех домах, голодно в бригадах. Ржаные колючие галушки в постной, без единой масляной крапинки воде – весь приварок трактористок. Правда, приносили из дому что ни что с собою: яйцо там, огурец, ломоть черного, колючего, как и галушки, хлеба, глиняный кувшинчик квасу для луковой окрошки – тем и сыты. Правда, однажды Тишке, вообще-то не слишком предприимчивому человеку, удалось изловить валушка, и тогда на поле у девчат был пир на весь мир. Тишка ходил гоголем, нимало не терзаясь совестью по поводу того, что добыл баранчика не совсем законным способом и отнюдь не в своем стаде. Ему хорошо была известна поговорка, составленная мудрыми дедами специально для такого вот случая: «Не пойманный – не вор». Теперь бригадир мог легко обороняться ею. Да и не для себя Тишка, укрывшись в овраге, днями просиживал в ожидании той минуты, когда животное отобьется малость от стада и окажется в роковой для себя близости от засады. Вероятно, разматерый волк и тот подивился бы, с какой ловкостью и с каким редкостным проворством управился этот невзрачный мужичонка с довольно-таки крупным бараном. Ничего, что потом у него тряслись руки и ноги, а самокрутка тыкалась в губы противоположным концом, – дело сделано, девчата поели на славу, а державшийся на чем-то весьма непрочном бригадирский авторитет Тишки получил теперь существенную опору.

Единственно, о чем могли бы пожалеть Феня и ее подруги, так это о том, что жалостливый их начальник все-таки храбр не настолько, чтобы такие праздники в бригаде повторялись. Но они знали, на какой риск отважился их командир, и помалкивали: в мирное-то время за кражу колхозного добра карали презрительно, а в войну и по-прежнему. Насытившись, девчата все-таки сказали своему бригадиру:

– Ты, Тиша, боле не надо. За такие-то дела голову сымут. Лучше уж поголодать. Может, придумаем что.

Как-то, придя на стан и прислушиваясь к ропщущему своему желудку, Феня проговорила певуче-мечтательно:

– Ушицы бы теперь, девоньки-и-и!

– Не поминай про нее, Фенька! Мы уж и позабыли, как она пахнет, щерба. Хотя бы косточку рыбью пососать. – И Маша Соловьева непроизвольно облизала свои припухшие, порепанные на солнце губы. – Давайте, бабы, в пруду наловим. Глядишь, какой-никакой карасика и попадетя.

– А чем, юбками, что ли, будем ловить?

– И юбками можно. Они у нас все в дырках, как бредень. Истлели, срамоту скоро нечем будет прикрыть, – сказала Маша, и такая целомудренно-стыдливая скорбь легла вдруг на грешный ее лик, что женщины небожно расхохотались, а Настя, испугавшись загодя замечаний, которые непременно должны были последовать после Машиного притворного вздоха, убежала за тракторную будку. Убралась Настя вовремя, потому что Катерина Ступкина, заделавшаяся поварихой в тракторной бригаде, не забыла указать Соловьевой на то, что всем было ведомо:

– Срамоту, говоришь, прикрыть нечем? Да ты, деваха, не очень-то и стараешься ее прикрыть.

– Хм... – вырвалось у Тишки, и он, не придумав ничего иного, принялся шарить черными пальцами у себя в затылке.

Между тем раскрывля Машухиных ноздрей начинали уже дрожать, надуваться парусом, толстые, румяные, потрескавшиеся губы обещающе шевелились, и всем было ясно, что с них вот-вот сорвутся слова, от которых будет не по себе даже повидавшей всякие виды Катерине. Но что-то вмиг переменилось в Машином настроении, опаленные обидой губы медленно разлепились, обнажив сверкающую белизну зубов. Сказала тихо, покорно, примиряюще:

– Да будет вам, тетенька Катя! Одни наговоры на меня. Потрется какой-нибудь заваливший мужичишка возле, а вы уж думаете бог знает что.

– Бог-то знает, да молчит до поры. А люди есть люди, они молчать не умеют. Вот про Фенюху что-то не говорят.

– Погоди, заговорят и о ней. Ославят поболее, чем меня. Вот надоем вам, за нее приметесь.

– Ну, хватит, бабы! Заладили! – сердито остановила их Феня. – Давайте лучше подумаем, как рыбы на щербу наловить. Ведь ноги уже отказываются носить нас. Помрем с голодухи-то, кто тогда будет пахать да сеять?

– Как кто? А Тишка!

– Нашла пахаря! Он, можа, годится для иной работы, только не для этой...

– Ох, и злая же ты, тетенька!

– Ну, опять расходитесь! Пошли, говорю, к пруду. Глядишь...

– И глядеть, Феня, нечего, – подал наконец свой голос и Тишка. – В пруде всех карасей повылавливали ребятишки. Они, чертенята, целыми днями лазят там с бредешками. В лес надо подаваться, бабы. Там вон сколько болот, и никто туда не ходит. Карасей и щук развелось, поди, страсть как много. Так уж и быть, отпущу завтра Феню и Марию на весь день. Пускай постараются для бригады. Ну как? – Тишка ожидал, что его предложение будет принято с радостью, женщины, по его расчету и разумению, должны были прямо-таки завизжать от восторга, но они молчали, угрюмо переглядываясь. – Чего ж вы примолкли, пришипилесь? О вас же хлопочу.

– Спасибо, хлопотун, заботник наш дорогой! – запела Маша. – Только в лес мы не пойдем.

– Что, ай Колымагу испужалась? – ревниво спросил Тишка. И, ослабившись, заключил пословицей: – Волков бояться – в лес не ходить.

– Ни Колымагу, ни тебя, милый Тиша, я не боюсь, не пужливая. Сами попадетесь в мой капкан, коль захочу. А вот волков страсть как боюсь. И в лесу их теперь видимо-невидимо. В селе-то от них житья не стало, а в лесу...

– Ну как хотите, – отступился Тишка и, обиженный, побрел в будку с очевидным намерением прикорнуть часок-другой.

Женщины молча разбрелись по своим делам. Поздно вечером, намаявшись с подшипниками – их надо было подтягивать чуть ли не после каждой смены, – Феня разбудила Настю. Та спросила сонным и испуганным голосом.

– Ты чего?

– Вставай.

– Зачем это?

– Пойдем, карасей наловим.

– Когда?

– Да сейчас.

– Ты что, Феня, с ума сошла? Ночью? В лес?

– Ночью. В лес. Днем-то к тракторам надо.

– Да нас бирюки сожрут. И не видать ничего.

– Бирюки, Настюша, за людьми не охотятся. И скоро луна взойдет. Есть-то завтра чего-то надо. К утру управимся. Ну как, пойдешь?

– А бредень где?

– У Апрелева двора расстелен на просушку. Мы потихоньку его...

От одной мысли, что они скоро окажутся в темном лесу, где сейчас конечно же хозяйничают звери, Настя готова была умереть; она слышала, как тоскливо заныло у нее под сердцем, как недобрый холодок пополз сперва по спине, а потом и по всему телу, но и отказать Фене она не могла, к тому же еды на завтра у них не было решительно никакой, если не считать рыжих, толстокожих огурцов, годных разве что на семена.

Они спускались с горы к Завидову быстро-быстро, и, чтобы подбодрить подругу, Феня не переставая говорила ненатурально громко. От страха перед лесными наваждениями Настя не понимала, что говорили ей, и отвечала невпопад, и голос ее дрожал, и сама вся тряслась, хоть Феня и обнимала ее за плечи горячей своей рукой.

Оказалось, бредень был развешен на плетне, и долго пришлось отцеплять его ячейки от сучков. Когда подходили к лесу, объявилась луна, точнее – одна ее половинка, до того яркая, что на поляне, куда они успели выйти, стало очень светло. Но то был не дневной, солнечный свет, постоянный, падающий прямо от источника, привычный и естественный, а какой-то нереальный и потому тревожный: он не лился ровным потоком, а как бы дробился, точно его просеивали через какое-то огромное позолоченное сито. Совладевши с темнотою, такой свет, однако, не способен отпугнуть ночных видений – напротив, чаще всего он сам и рождает их. В каждой тени, отбрасываемой вершиной, стволом ли дерева, кустом полыни или курышинника, чудились некие живые существа, собравшиеся в неисчислимом множестве и разнообразии с совсем уж недобрыми для оказавшегося среди них человека целями. Во всяком случае, так чудилось Насте, которая судорожно сжала Фенину руку выше локтя (на следующий день та показывала трактористкам лиловый отпечаток Настиных пальцев). Кто только не бластился девчонке в ту проклятую ночь: и волки, и разбойники, она их видела в каждом густокронном и низкорослом карагаче и вязе; и, окаянные, их очень искусно изображали своими колеблющимися резными листьями дягили и папоротник; и бабы-яги, гарцующие верхом на метлах, эти туда-сюда прыгали через заросшую разнотравьем лесную дорогу, и были они безобиднейшим паклеником, за которым в дневную пору Настя часто хаживала в лес, поскольку кожица этого неприхотливого деревца хранила красящее вещество, очень ценное в девичьем хозяйстве: цвет получался мягкий, темно-сиреневый, благородный, от одного взгляда на него веяло единственным неповторимым запахом сирени. В довершение всего с ветвей пакленика при малейшем прикосновении к ним то и дело срывались холодные, как льдинки, капли росы. У них было странное обыкновение падать не куда там-нибудь, а непременно за ворот кофты, и столь неожиданно, что Настя вскрикивала и еще крепче сжимала руку своей спутницы. От частого ее ойканья множились новые звуки и летели по лесу, сея по пути тревогу у пернатых и четвероногих его обитателей: одни из них улетали и убежали со всех ног молча, а другие, такие, как сороки и филины, оглашали урочище криками, особенно громкими и неприятными среди натянутой до предела ночной тиши.

Феня, с трудом подавляя собственный страх, в ответ на вскрик Насти говорила, тихо смеясь:

– Да что ты, в самом деле! Видала, как от тебя зайчишка улепетывал, а ты боишься! Хочешь, я сейчас всех чертей до смерти испугаю? Хочешь? – И, не дожидаясь, что скажет на это Настя, Феня по-ребячьи заложила пальцы в рот, и лес пронзил оглушительный свист. Настя закричала истошным голосом:

– Не надо!

– Ну, ну, не буду больше, – испугалась за спутницу Феня, – успокойся, сейчас придем. Болото уже близко, видишь, во-о-он светится.

Они свернули с дороги влево, где на смену молодым дубкам пришли осины, листья которых тихо серебрились в вышине и в полном безветрии все-таки трепетали, шлепались друг об дружку.

– Слышишь, как осины обрадовались нашему приходу? – сказала Феня нарочито громко, по-прежнему с тою же целью – подбодрить себя и Настю. – В ладошки хлопают.

Под ногами сделалось мягко, пружинисто, многолетние напластования плотных листьев, приятно прогибались под ступнями ног; скоро меж пальцев (девчата были босыми), щекоча, начала пробиваться тепловатая и вонючая болотная водица; послышался жесткий шелест осоки, раздвигаемой рыбой и лягушками, плавающими где-то почти поверх воды; сквозь раз-

водья засветился чистый от травы круг водяной глади, на нем то там, то тут возникали прозрачные пузыри и тотчас лопались, уступая место другим; лениво плескалась нешустрая болотная рыба, увертываясь от погони или просто балуясь. Была минута, когда Феня и Настя едва не оставили своей затеи и не убежали из леса, – это когда к противоположному берегу вышел лось. Привыкшие с грехом пополам к разным лесным звукам, девочки поначалу не обратили внимания на легкий шум в кустах и спокойно снимали с себя платья, готовясь к рыбной ловле. И только когда темная громадина показалась в лунном свете и настороженно подняла ветвистую голову, они обе взвизгнули и сорвались с места, сверкая меж осин нагими телами. Но, по-видимому, лось был напуган еще больше, потому что до убегающих донесся треск сучьев, а потом и вовсе все затихло. Стыдливо прикрываясь руками, словно бы их кто мог увидеть тут, Феня и Настя какое-то время сидели на корточках в нерешительности. Однако близость цели и крайнее нежелание возвращаться ни с чем победили боязнь, они приподнялись и, взявшись за руки, начали вновь подкрадываться к водяному зеркалу.

Настя с ужасом поглядела на болото, в которое она, совершенно голенькая, в чем матушка родила, сейчас должна войти, в то самое болото, в котором кишмя кишат пиявки и разные кусючие пауки, а днем, в солнечную погоду – она это сама не раз видела – плавают ужи; высоко задрав позолоченную свою головку, они угрожающе стригут черным раздвоенным язычком; поглядела Настя на мутноватую темную водицу, и ее всю так и передернуло, а кожа вмиг стала гусиной, покрылась зябкими пупырышками. Постукивая часто зубами, Настя ждала, когда ее старшая подруга развернет на траве бредень и подаст команду. Будь то в другое время, днем, скажем, Настя обязательно расхохоталась бы, и счастливые от веселого смеха слезинки катились бы из ее глаз, потому как поза «разнагищенной» Фени была уморительной. Но Настя не могла даже про себя улыбнуться. Дрожа всем телом и вызванивая зубами, она ухватилась за левую клячу бредня и, точно обреченная, равняясь на Феню, осторожно вошла в воду. Ноги сейчас же, и довольно глубоко, погрузились в тину, из-под них подымалась, вторгаясь в ноздри, болотная вонь, жесткая осока неприятно царапала бедра и колени, – и то была минута, когда девочка готова была проклясть подругу.

«Дались ей эти караси, да я лучше бы с голоду померла, чем такое...» – думала Настя. Феня между тем тихо командовала:

– На себя потяни чуток. Вот так! Нижний конец клячи вперед немножко и держи у самого дна!

Вода подымалась все выше и выше, а вместе с нею как бы подымалось сразу все внутри и у самой Насти, сердце замирало, когда она наклонялась ниже, и захладавшая в ночи вода доставала плотного бугорка маленькой ее груди. Возле ног, задевая их, мельтешило, сновало что-то живое и мерзкое, и ничего с этим нельзя было поделать.

– Ой, Феня, ой, миленькая, поскорее бы из этой проклятой воды! Помру, ей-богу, помру! – бормотала она, изо всех сил волоча тяжелый, зачерпнувший пуды тины и всякой болотной дряни бредень.

– Ничего, ничего, Настенька, мы толечко один раз забредем – и домой.

Когда же вышли на противоположный берег и на крыльях бредня и особенно в длинном хвосте его увидели упруго шевелящихся, отливающих начищенной самоварной медью крупных карасей, Настя сразу приободрилась, запрыгала над добычей, хлопала в ладоши, закричала;

– Ура, ура, Фенюшка! Ай да мы!

Феня прикрикнула на нее с радостной дрожью в голосе:

– Ладно, перестань скакать! Помогай мне, неси ведро-то! Мы его с той стороны оставили!

Беги!

– Ой, я боюсь!

– Ну постой тут, я схожу сама.

– Я не останусь одна. Я с тобой...

– Ну и помощница! Пошли скорее.

Караси выскальзывали из рук, Настя вновь ловила их в траве и, счастливая выше всякой меры, бросала, тяжелых и жирных, в ведро. Феня, деловитая и уже охваченная нетерпеливым огоньком охотничьего азарта, говорила тихо и таинственно, словно боясь, что кто-то услышит и помешает их занятию:

– Еще разик забредем. Ладно?

– Еще, еще! – уже охотно соглашалась Настя.

На другом берегу все повторялось сызнова, и ведро было уже почти полно, и уже на смену лунному свету явственно надвигался дневной, от села доносился крик кочетов и вот-вот Тихан Зотыч хлопнет своим кнутом пастушьим, а они все шептали:

– Еще! Ну, еще один разик. Последний. Ладно? Последний заброд оказался менее добычливым – всего лишь три карася, но рыбачки не очень огорчились: на том берегу у них стояло полное ведро. Не спеша, по-женски аккуратно они свернули снасть, оделись, ощутив ласковое и привычное прикосновение сухой материи к влажному телу, и в самом добром расположении духа направились по полукружью берега к тому месту, где их ждал улов. Только что выловленных карасей Настя несла в подоле, не особенно заботясь о том, чтобы не выронить их. От ушедшей чуть вперед Фени она услышала:

– Где же ведро-то?

В голосе подруги поначалу не было решительно никакой тревоги: ведро куда не могло деться, у него же нету ног, чтобы убежать, просто надо хорошенько оглядеться вокруг, где-нибудь притулилось за осокой, за болотным или большим лопухом. Подошла Настя, стали искать вместе, ходить, шарить глазами там, тут...

– Нету?

Вот только теперь что-то дрогнуло в Фенином голосе.

Они уже не ходили по берегу, а метались. И что-то тупое и холодное упало на сердце девушки, когда Феня уронила потерянно:

– Украли!

И тотчас же тяжелый груз нечеловеческой усталости обрушился на них, ноги сделались вдруг чужими, непослушными. Обе сразу рухнули наземь. И, верно, расплакались бы от жгучей, злой обиды, кабы не эта отупляющая усталость.

– Кто бы это мог, а? – спросила Феня спокойно, как о чем-то мало значащем для них. – Как у него поднялась рука? – И усмехнулась с горьким безразличием. Погрызла какую-то болотную травинку, медленно поднялась, так же медленно взвалила на плечо бредень, сказала уже на ходу, не оглядываясь, скорее же всего боясь оглянуться на подругу: – Пойдем, Настя. Слава богу, накормили бригаду...

Глава 13

Гонимые огненной волной и грохотом войны, с запада на восток уходили не только люди, но и звери. Уже в самом конце сорок первого года в лесостепных краях Поволжья объявились лоси, которых с давних-предавних пор никто не видывал тут. Теперь они напрочно поселились по обоим берегам Волги и в короткий срок пообвыкли настолько, что запросто среди бела дня семьями выходили к стогам, раскиданным по лугам и балкам. Согласно охотничьим теориям, волки должны были бы держаться подальше от здешних мест, но на то они и охотничьи, эти теории, чтобы решительно не находить своего подтверждения на практике. Волки поначалу, может, и напугались пришлых невесть откуда лесных великанов, но ненадолго. Скорее всего, они, волки и лоси, заключили нечто вроде пакта о взаимном ненападении, потому что ни единого лосиного теленка, задранного бирюками, даже всевидящее око Архипа Архиповича Колымаги нигде не могло заприметить, зато останки домашней крестьянской живности попадались леснику на каждом шагу.

Волки-беженцы, изгнанные из обжитых ими западных окраин страны, эвакуировались сюда в таком множестве и были столь голодны и свирепы, что стали бедствием не только для крестьянских дворов, но и для своих собратьев – аборигенов здешних мест. Это последние не пожелали приютить изгнанников, встретили их крайне враждебно. С вечера и до утра, а то и днем, совсем не на самых дальних от селений лесных полянах или же прямо на поле, в виду у работающих там и замирающих в страхе женщин, вскипали яростные волчьи баталии. Оттуда доносились визгливый вой, захлебывающийся, задыхающийся хрип и рык, костяной лязг клыков. Редкие собаки, чудом ускользнувшие от волчьих зубов, слыша и чуя такое, просовывали меж задних ног и прижимали к тощему, поджарому брюху хвосты и жалобно поскуливали у дверей, просясь в избу, под защиту хозяев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.